



Станислав
Венгловский

Рассказы
об античном
театре

Станислав Венгловский

Рассказы об античном театре

«Алетейя»

2015

УДК 94(38):792
ББК 63.3(0)32-7

Венгловский С. А.

Рассказы об античном театре / С. А. Венгловский — «Алетейя»,
2015

Автор объединяет популярные очерки о древнегреческом театре, о «легендарном» родоначальнике трагедии Дионисе, о выдающихся драматургах: Феспиде, Эсхиле, Софокле, Еврипиде, Аристофане, Менандре – об их творчестве и театральной жизни в античности.

УДК 94(38):792
ББК 63.3(0)32-7

© Венгловский С. А., 2015
© Алетейя, 2015

Содержание

Вместо предисловия, или загадка древней Ольвии	6
Театр одного актера	19
Аттика	19
Зачинатель Феспид	22
Друзья-соперники. Фриних	31
Эсхил, или театр двух актеров	34
Марафонские страсти	37
Саламинское сражение	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Станислав Венгловский

Рассказы об античном театре

© С. А. Венгловский, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

Вместо предисловия, или загадка древней Ольвии

... И, взвившись, занавес шумит...

Александр Пушкин

В античном театре впервые мне довелось побывать летом 1961 года. Правда, оказался он вроде бы не совсем настоящим, а все же – вполне античным. Впрочем, это было лишь подходящее место, где театр размещался. Даже – функционировал. Разумеется, при сопутствующих вспомогательных средствах и обстоятельствах.

Однако – лучше обо всем по порядку...

На исходе того уже очень далекого лета прибыл я в Николаев, расположенный на берегах Бугско-Днепровского лимана. Судостроительный город оказался переполненным многочисленными бассейнами, специализированными доками, затонами и разными прочими заведениями в том же роде. И все же, в силу разного рода причин, мной был избран вовсе не водный маршрут. В конечный населенный пункт, под названием Парутино, доставил меня автобус, разбухший от зноя и пыли. За стеклами его окон неустанно мелькали белыми стенами хаты, серо-зеленые кукурузные поля и жидкие лесозащитные полосы.

Необходимо заметить, что дело это происходило на пике пресловутых реформ Никиты Сергеевича Хрущева и прочих его же партийно-коммунистических нововведений. Август был почти на исходе, однако в благодатных южных краях совершенно не пахло осенью. Повсеместно царило щедро-знойное лето, синело чистое небо и ярко сияло солнце.

Прибыв на место, погрузившись ногами в раскаленный жарюю песок, я огляделся вокруг. Подхватив свой армейский еще чемодан, с которым сравнительно недавно был демобилизован из армии ради поступления в вуз, поинтересовался у первого встречного, где здесь находится «Ольвия». Признаться, у меня не было твердой надежды получить вразумительный ответ. Однако на лице у спрошенного не отпечаталось ни малейших следов удивления.

– Вот там! – ответил он совершенно спокойно, чуть-чуть шевельнув плечом, на котором покоилось лезвие сверкающей блеском косы. Он вел себя так, как если б меня интересовал ближайший продовольственный магазин.

Вторично подхватив свой нехитрый багаж, основную часть которого составлял небольшой этюдник и несколько альбомных блокнотов, спрятанных на дне чемодана, я продолжил свой путь в указанном им направлении. Вскоре, действительно, мне посчастливилось наткнуться на некое подобие триумфальной арки, какие часто встречались тогда в украинских и прочих советских селениях.

Табличка у подножия арки однозначно гласила: это и есть искомая мною Ольвия. Мне сразу же стало как-то не по себе. Из прочитанных книг и статей я твердо усвоил, что Ольвия, некогда богатейший эллинский город-полис, была настоящей жемчужиной на безбрежных скифских просторах. Само слово «Ολβία» в переводе с древнегреческого означает «счастливая», отчего и деревня Парутино, думалось мне, представляет собою счастливейший населенный пункт.

Вместе с прилегающим к ней причалом-портом, древнюю Ольвию окаймляли мощные крепостные стены, остатки которых мог запросто видеть еще седоусый малороссийский гетман Иван Степанович Мазепа, проплывавший вдоль берегов Буга в зафрахтованном им турецком судне, рядом с покрытой гербами каретой шведского короля Карла XII, которого, по случаю ранения его царским стрелком, везли по степям во вместительном экипаже. Оба они, король и гетман, спасались от преследований петровской армии, добившейся судьбоносной виктории в знаменитой Полтавской битве. В оборонительных сооружениях, окружавших некогда греческую твердыню, наверняка еще можно было выделить места укрепленных ворот, упомяну-

тых Геродотом и отмеченных первыми русскими исследователями (полковником Херсонского полка А.Мейером, П.Сумароковым, академиком П.Палласом и другими). Над воротами, равно и на всем протяжении каменных стен, возносились когда-то внушительные башни. Город-крепость в древности окружали глубокие балки-овраги, высокие насыпи и всякое прочее.

Теперь же за аркой и неким подобием сооруженного из камней заборчика высились две повисавшие виды туристские палатки. Перед одной из них двое юношей, с обнаженными до пояса торсами, передвигали едва различимые издали шахматные фигурки.

Рядом с палатками выделялась своей неуместностью скважина артезианского колодца. Чуть дальше, на побуревшем от солнца пригорке, угадывалось пустое пространство, очевидно – обрыв к реке. Под сенью мощных деревьев сверкала крыша аккуратного домика под ослепительно яркой крышей.

Незнакомые мне ребята (их оказалось в палатках несколько человек) считали себя уже чуть ли не членами археологической экспедиции. Они надеялись быть зачисленными в полевые рабочие.

Не успел я, кажется, перекинуться словом со своими будущими коллегами, выяснить, чем предстоит нам питаться в этих сходу понравившихся мне местах, где проживать, – как вдруг из транзитного автобуса, в облаках красноватой пыли подкатившего к парадному входу в Ольвию, вывалились знакомые мне университетские ребята. Был среди них и мой однокурсник (в честь знаменитого македонского царя назовем его условным именем Александр).

В тот же день, но поближе к вечеру, приехала основная команда будущей экспедиции, ее административная головка. И мы, точнее – мужская часть практикантов, одновременно полевых рабочих, – оказались постояльцами упомянутого выше домика в тени вековых деревьев.

Это строение, как потом мне стало известно, служило пристанищем для пограничников. Дозорный пост их был ликвидирован в связи с реформаторским зудом того же неугомонного Никиты Хрущева. Нам пришлось лишь самым бесцеремонным образом изгнать прижившихся в нем гостей, так называемых «желтопузиков» – совершенно безвредных упитанных змей. Особенно обожали они почивать на раскаленной под солнцем железной крыше. Я сам стал свидетелем, как спешно, шлепаясь тучными брюхами, «сваливают» они с привычно «належанных» мест.

С пригорка, на котором стоял наш дом, открывался неповторимый вид на обширный речной лиман. Берега его, более чем высокие, обрывались весомо, решительно. Песчаная дорога к ним извивалась зигзагами, а полоска земли на другом берегу проступала еле заметным, рваным пунктиром. Там, говорили, находится заречное крупное поселение, названия которого никто здесь не помнил, а то и не знал...

На следующий день, с утра, на ожившие вдруг раскопки явилось много местных, парутинских жителей, в основном жительниц, знакомых всей прибывшей ленинградской экспедиции. Фронт работ запестрел ослепительно белыми платками, кофточками, засверкал острейшими лезвиями пока еще абсолютно праздных лопат. Появилось немало вместительных носилок, предназначенных для уже обработанной почвы.

То была довольно интересная публика, забавлявшая себя мелодичными украинскими песнями, прибаутками, певучей славянской речью. Вдобавок, по раскопкам стал расхаживать местный дворовый пес, по кличке Брут¹. Пес сохранял в своем облике что-то от загрустившей, а то и просто вечно печальной овчарки. Перед каждым известным и неизвестным ему человеком он помахивал пыльным, в репьях, хвостом, призывая нас жить с ним дружно, делиться всем, что только удастся достать. В первую очередь – съестными припасами.

И вот, наконец, после ознакомления с территорией заповедника, с его историей, с проводимыми в нем раскопками, – перед моими глазами предстало воронкообразное природное

¹ Эту новую кличку, насколько мне помнится, дал ему наш университетский «ментор» – Никита Виссарионович Шебалин.

образование. Крутые склоны его устилала светло-бурая растительность, что-то вроде жесткой мечевидной травы. Пространство, открытое с противоположной от нас стороны, показалось бескрайним. За ним простиралась безбрежная водная гладь лимана, по которой скользило множество парусов, похожих на ловкие быстрые блюда. Где-то вдали, в синевато-прозрачной дымке, скорее угадывались, чем проступали, пределы речного раздолья.

– Обратите внимание, друзья мои, – продолжал звучать все тот же приятный голос, – на площадку вон там внизу, в эпицентре гигантского полукруга... Там, безусловно, располагалась сцена, известная вам «орхестра». Возвышались декорации и размещались разного рода театральные приспособления, вплоть до известного вам журавля, при помощи которого мог явиться *deus ex machin*². Актеры здесь выступали непременно в ярчайших масках, расписанных искуснейшими изографами. На плечах у всех действующих лиц развевались одежды, покрытые драгоценными камнями, узорами и прочими украшениями. Все участники театрального действия передвигались на высоких котурнах. Там, внизу, на ограниченной этой площадке, в диаметре 20 нынешних метров, звучали тексты Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Менандра... Каждое слово, произнесенное ими, слышалось в любом ряду гигантского амфитеатра... Это был первый театр на территории древней Скифии, а, значит, и на территории нашего государства (имелся в виду тогдашний Советский Союз). Чтобы окончательно доказать все это, необходимо провести раскопки. И тогда все уляжется на свои места. Никто не сомневается, что город такого масштаба, как Ольвия, располагал собственными зрелищами. Следов подобных театров обнаружено в мире в достаточном количестве... В пользу моей гипотезы говорит рельеф этой местности, близость порта-причала, перед которым каждой весной выпускались все цвета радуги... Вы, друзья мои, могли бы посодействовать этому своим внимательным отношением к находкам. Иногда ведь случается так, что какая-нибудь безделушка оказывается слишком существенной... Пусть и не такой это был театр, как афинский, посвященный богу Дионису, вмещавший семнадцать тысяч зрителей, или театр в Эпидавре, куда ежегодно стекались массы людей в поисках оздоровления, а все же – театр не из самых последних!

Высокий человек, с благородно очерченным крупным носом, формой своей головы напоминавший генерала де Голля, французского президента, неспешным движением длинной руки указывал на крутые склоны, убегавшие из-под наших ног. Там, по его убеждениям, располагалась чаша амфитеатра, роились ряды всевозможных сидений и кресел. Сам он, накрытый широкополой соломенной шляпой, в белой, свободного кроя одежде, вроде пиджака, казался мне не от мира сего.

Увязавшийся за компанию Брут, внимательно следивший за взмахами рук, прилег у его сандалий, ударил по земле своим тощим хвостом в репьях...

Что-то такое, чересчур убедительное, выстраданное, продуманное улавливалось в этом голосе, что ему невозможно было не верить. Не знаю, как реагировали остальные мои сотоварищи, но сам я вдруг властно почувствовал, как сквозь толщу веков, даже нескольких тысячелетий, до моих ушей дотекают слова уцелевших античных текстов, к которым мне, как и моим однокурсникам, каким-нибудь боком удалось уже прикоснуться. Я вспомнил рассказы преподавателей, побывавших на Балканском полуострове, о посещении ими отреставрированных античных театров, и представил себе внизу, на этой сцене-орхестре, знаменитых «Персов» Эсхила. Основным мотивом драмы являлось твердое убеждение, что греки – не рабы. Увидел софокловского царя Эдипа, жаждущего жить в спокойном, размеренном мире, в кругу друзей и близких, но узнавшего жесткую правду о себе самом. Лишив себя зрения, с окровавленными глазами, он все же не стал осквернять себя ложью, сохранил в себе мудрость и человеческое достоинство. Увидел также гордого Прометея, прикованного к скале, ставшего жертвой

² Бог из машины (лат.).

любви к человеческим особям. Увидел Ореста, движимого чувством мести за подло сраженного своего отца, и, под влиянием сестры, решившегося на убийство... матери. Увидел богинь мщения, в их жутких, застывших масках. Они водили на сцене какой-то невероятный танец...

Разумеется, об античном театре кое-что знал я из школьных времен, по учебным пособиям для пятого класса, а также из произведений художественной литературы. Что касается учебников, я очень внимательно рассматривал помещенные в них рисунки и разные фотографии, относящиеся, правда, к нынешним временам...

И все ж то была сухая история. Не более того.

Гораздо подробнее об античном театре в университетской аудитории толковала нам Мария Дмитриевна Добрякова³.

Пропуская табачный дым сквозь крупные пожелтевшие зубы (времена царили патриархальные!), Мария Дмитриевна пыталась чуть-чуть отворачиваться лицом в направлении темных непроницаемых шкафов, отделявших ее и нас от крохотного библиотечного уголка. Там, за шкафами, помнившими Жебелева, Толстого, Зелинского, Соколова и прочих ученых античников, а теперь глядевших на нас с застывших фотографических портретов, трудилась незаметная лаборантка Ольга Самойловна, как выяснилось впоследствии, также выпускница отделения классической филологии.

Да, надлежаще воспитанная, причислявшая себя к цвету чудом сберегшейся питерской интеллигенции, Мария Дмитриевна не позволяла себе извергать желтый дым непосредственно нам в глаза. Аскетическое лицо ее при акте курения источало громадное удовольствие, свойственное всем любителям табачного зелья. Впрочем, быть может, это каким-нибудь образом связывалось с возникавшими в ее голове картинами античного мира, – судить не берусь.

Охрипшим до неприятия голосом матерого курильщика преподавательница читала нам курс введения в античную филологию, выстраивая его хаотично и довольно безалаберно. Зачастую она проверяла на нас звучание приготовленных к публикации собственных статей и прочих материалов. Иногда вообще заменяла порученный курс уроками древнегреческого языка, который также вела по собственной оригинальной методе, позаимствованной, впрочем, от зарубежного профессора, подвизавшегося в русских университетах. (Пиша эти строки, естественно, я постоянно держал в голове заветы античных римлян *De mortuis aut bene aut nihil*⁴. И все же мне четко было понятно: данная истина хороша лишь в период слезливых поминок. Что случилось бы с миром, принимай мы его в том самом окаменевшем виде, в каком он первоначально предстал перед нами?

Очевидно, думалось мне, нечто подобное волновало великого Пушкина, когда он впервые ознакомился с переводом на русский язык гомеровской «Илиады» Н.И.Гнедича. «Крив был Гнедич поэт, крив и его перевод», – написал поэт, движимый первым, инстинктивным порывом. Правда, подумав, остыв, вымарал эти строки и сочинил известную всем похвалу: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...» Но вымаранное все же сделалось достоянием пушкиноведов, а затем и читающей публики... Для полноты картины добавим, что «кривизна» переводчика была обусловлена оспой, перенесенной им в раннем детстве.

Во всяком случае, не припомню ничего такого в скомканных лекциях Марии Дмитриевны, что напоминало бы стройный курс введения в античность, представленный московским профессором Сергеем Ивановичем Радцигом, опубликованный уже после окончания мной университета. А ведь, откровенно говоря, установки для этого курса были тогда всеобщими...

Мария Дмитриевна, полагая, не ставила себе задачей увлечь своих слушателей романтической античностью. Выдающийся знаток древнегреческого языка и литературы (очень ценямая, кстати, академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым), замечательный интерпретатор

³ Фамилия, а также инициалы, изменены.

⁴ О мертвых (позволено говорить) либо хорошо, либо – ничего (лат.).

указанных текстов на русский язык, которым также владела безукоризненно, ради науки пренебрегая личными интересами, Мария Дмитриевна сама была очарована древностью, но, по всей вероятности, ревниво следила за доступом к ней кого бы то ни было «постороннего». Тем более не хотелось ей делать подобного рода уступки студентам, в большинстве своем – переросткам, заработавшим себе преимущество полученным на работе стажем (равно и службой в армии). Так уж водилось в те времена.

Ко всему прочему, Марии Дмитриевне была просто-напросто противопоказана любая педагогическая деятельность (как и многим из числа тогдашних университетских наставников). На этой ниве она тотчас же обнаруживала свою полную профессиональную непригодность. (Говорю об этом как человек, перевидавший разнообразных педагогов. Я и сам, почти безуспешно, пробовал подвизаться на этом поприще в течение многих лет).

Что же, в этом не было прямой вины Марии Дмитриевны. Выбор был строго детерминирован. Виной всему выступали жесткие обстоятельства, заставлявшие людей принаравливаться к любым условиям жизни...

Вдобавок к забавной (мягко говоря) привычке курить, причем непрерывно, Мария Дмитриевна обладала страшной нетерпимостью, прямо-таки истеричностью характера. На своих подопечных (да и коллег) смотрела она всегда свысока, безразлично, как незрячий Гомер, чей белый внушительный бюст взирал на нас с темной подставки, вроде высокой трибуны. К нам, студентам, обращалась подчеркнуто официально: по фамилии, с непременной приставкой «товарищ такой-то». Да и усаживалась она перед нами каким-то удивительным образом. Остроконечный ботинок ее, выставленный вроде «козьей ножки» в руках у чеховского дантиста, трепетал, словно телячий хвостик, отвлекая от едва проступавших видений античности. От тех же, примером, театральных атрибутов...

Подобный тип наставника-педагога мог процветать лишь при чисто тоталитарном режиме (вспоминаю, как грубо была удалена с занятий по греческому языку присоседившаяся к нам дочь тогда еще не очень звучавшего академика Лихачева, пожелавшая проверить познания в этой области). Читанный Марией Дмитриевной курс введения в античность годилось бы скорее называть курсом отвращения от специальности. Может, в этом и заключалась тактика лектора? Бог ее знает.

Впрочем, я выражаю здесь сугубо личное мнение, отчего несколько не стану удивиться, если обнаружится, что кто-нибудь из других подопечных Марии Дмитриевны придерживается диаметрально противоположных взглядов. Не стану даже вступать с ними в споры.

Группа была у нас маленькая, всего лишь шесть человек. К тому же – действительно великовозрастной: самой старшей моей однокурснице исполнилось уже 30 лет. За ней следовал 28-летний молодой человек, страстный любитель поэзии, да и сам поэт, как уж водится среди геологов (а был он действительно матерым искателем полезных залежей). Поддерживая живые связи со многими здравствовавшими тогда ленинградскими поэтами, имевшими в своем «анамнезе» геологическое прошлое, знакомил с их творчеством также меня. Затем уже шла основная тройка 21-летних студентов. Замыкала все это 17-летняя выпускница школы, явившаяся в Питер из знойного Симферополя, круглая, между прочим, отличница. Одним словом, наш тогдашний заведующий кафедрой, с плохо скрываемым разочарованием, почесывая свой наголо выбритый череп и поправляя при этом очки, отмечал, что первокурсники нового набора – старше выпускников-дипломников!

Так уж тогда получалось.

Естественно, эгоистичная натура Марии Дмитриевны несколько не вникала в интересы новонабранных новичков. Не волновало ее, почему эти молодые люди с такой настойчивостью пытались заполучить вожаденный студенческий билет. Не занимало и то, что они, быть может, способны внести неоценимый вклад в филологию, даже в ее классическую разновидность. Повидимому, на уме у Марии Дмитриевны было совсем иное: куда проще заниматься с молодыми.

Они живее схватывают материал, быстрее его усваивают. А раз так – с ними не придется терять драгоценное время. Стоит им только «прокукарекать» – они тут же все это усвоят. Можешь и впредь наслаждаться любимыми переводами.

Справедливости ради не премину засвидетельствовать, что среди не прошедших конкурс абитуриентов было действительно много «досрочных» полиглотов, в чем я не раз получал возможность не только лишь убедиться, но даже позавидовать им, как тогда говорилось, «белой завистью».

Марии Дмитриевне не дано было знать, что педагогическая стезя – удел сугубо подвижнических натур. И все ж это не мешало ей поступать по-своему. Она сочла за благо вмешаться в процесс «недоработки» приемной комиссии. Напрямик об этом вряд ли с кем поделилась мыслями, но ее сжигало само понимание вопиющей несправедливости. К этому, пожалуй, я сам подстегивал ее ссылками на далекий XVIII век, напоминанием о временах Петра Великого и Михаила Васильевича Ломоносова, в 20-летнем возрасте прибывшего в Москву обучаться латинскому языку. Над ним тогда здорово потешались соученики-однокашники. Добро бы еще в 20 лет, сокрушалась Мария Дмитриевна, а здесь – целых 30!..

Естественно, главной мишенью своих энергичных атак Мария Дмитриевна избрала нашу 30-летнюю однокурсницу, которой с трудом приходилось усваивать премудрости античных языков при тогдашней сильнейшей идеологической нагрузке студентов гуманитарных вузов историей коммунистической партии Советского Союза, политической экономией капитализма и социализма, научным коммунизмом и прочими подобного рода предметами, в конце концов сочтенными сущей белибердой.

Добившись ухода нежелательной слушательницы уже в течение двух начальных учебных месяцев, Мария Дмитриевна принялась за очередную жертву, за 28-летнего геолога, который также капитулировал перед ней к концу первого семестра.

После этого наступила очередь 21-летних кадров, в первую голову меня, только что демобилизованного сержанта, успевшего перед призывом как-то играючи, с отличием окончить медицинское училище, но совершенно не приученного к систематическому труду, всецело полагавшегося на свои «способности», а еще больше – на русский «авось». Достаточно сказать, что на всем протяжении первого университетского курса я не был даже записан ни в факультетскую, ни в фундаментальную университетскую библиотеки. В меру начитанный, как я полагал, впитавший в себя привычку быть круглым отличником, я стал проникаться уверенностью, что мне достаточно посетить читальный зал, заглянуть в соответствующие книги, чтобы тут же быть готовым к очередному семинару, коллоквиуму, к любому зачету или даже экзамену. Что же касается древнегреческого, латинского и прочих языков – я всецело полагался на свои конспекты.

Но не тут-то было!

Если с латинским, немецким и прочими языками и предметами сошло все более-менее благополучно (помогла подготовка, полученная в училище), то абсолютно не то получилось с азами древнегреческого.

Началось все с зачетной контрольной работы. Раздав ее варианты, не сказав ни единого слова, Мария Дмитриевна окуталась ярким сигаретным дымом и тотчас уткнулась в английскую книгу, не забыв предварительно посмотреть на часы. Завидев приличный список глаголов, я принялся спрягать их по всем известным мне правилам и во всем объеме, потому и не заметил, как истекло отведенное для контрольной работы время.

– Все! – сказала Мария Дмитриевна, справившись с бог весть какой по счету единицей табачной продукции. – Сдавайте!

Я растерянно взглянул на нее, не доверяя своим ушам. Но движения ее прокуренных пальцев с пожелтевшими ногтями оказались более чем неумолимыми.

– Что вы наделали, товарищ Венгловский? – фыркнула она, едва взглянув на мою работу. – Нужно было образовать лишь второе лицо единственного числа!

Не предупрежденный своевременно, я не обратил на вопросы надлежащего внимания и стал выполнять работу в шесть раз больше требовавшегося объема, почему и не успел справиться с остальными пунктами.

Обозвав меня деревенщиной (что, впрочем, не противоречило истине), Мария Дмитриевна перечеркнула все мои старания. На лице у нее отразилось громадное наслаждение, какое, наверное, переживают люди, сделавшие фундаментальное открытие.

Пришлось вторично приниматься за контрольную работу, составленную моей наставницей, которая (работа) требовала канцелярской щепетильности, выразительности каждой буквы, чего я просто терпеть не мог, предпочитая всегда нечто приблизительное, зыбкое, многовариантное. (С ностальгией вспомнил я прежнего своего учителя латинского языка – Карла Фердинандовича Гринкевича! За четыре десятка ошибок в контрольной работе, подчеркнутых и исправленных красным карандашом, суровый «папа Карло» ставил нам крепкие «четверки», довольствуясь пониманием всего курса! «Латинский язык, говаривал он, в совершенстве знает лишь Бог. Я сам им владею только на «четверку»... А что бы сказал он о древнегреческом... И добавлял: «Детали будут усвоены сами по себе...»)

Для Марии Дмитриевны ничего не значили основательные теоретические познания, ориентирование во всей грамматике языка. Для нее важна была прямо-таки бухгалтерская точность каждой проставленной буквы, каждого подстрочного знака. Любое несоблюдение этого принципа выводило ее из себя, бросало в мелкую дрожь. Что уж говорить о непременно подвращенной ею под зад конечности, «козьей ножки»... Лучше не вспоминать...

Разумеется, я тотчас смекнул, что речь здесь идет не просто о контрольной работе, но о чем-то гораздо большем. Понял, что мне предстоит одолеть серьезнейшее препятствие. Что преподаватели, несомненно, располагают большими возможностями, нежели студенты. (К тому же – в тоталитарной стране, где все подчинено строжайшей иерархии! Правда, мысль о тоталитарном строе в Советском Союзе не приходила мне в голову). Что же, как говорят французы – *a malin – malin et demi* (что-то вроде русской пословицы «Нашла коса на камень»). Я подготовился как следует, вы зубрил по конспекту весь надлежащий материал. Но и повторная попытка не доставила мне особого удовольствия. Мария Дмитриевна нашла какие-то важные промахи в новой работе, какие-то пропущенные мною подстрочные знаки, нечетко проставленные, что ли... Одним словом, едва-едва перевалил я черту, отделяющую знающего от незнающего. У Марии Дмитриевны каждое лыко шло в строку...

Это было похоже на крах.

К тому же я твердо предчувствовал, что наш «поединок» с Марией Дмитриевной только лишь начинается. Приняв вызов, скорее по врожденной инерции, я все ж ощутил в душе какое-то отвращение к подобному состоянию науки. Понял, что туда меня просто не пустят...

Впрочем, кто ведает, что могло быть дальше?

Быть может, своей дотошностью Мария Дмитриевна могла бы сослужить мне даже очень полезную услугу: довести до надлежащей кондиции. Страхнув с себя лень, я бы взялся за ум, научился надежной аккуратности... Переродился бы...

Однако судьба не стала меня (да и всех «однотруппников») подвергать искушению.

Почти с самого начала второго семестра Мария Дмитриевна стала заметно прихварывать. К плохо скрываемому моему удовольствию, она не явилась несколько раз на занятия. Затем стала назначать нашей группе встречи у себя дома, на улице Плеханова.

Не исключено, разумеется, что за всем этим скрывались какие-то внутрикафедральные интриги. Все-таки потеря двух первокурсников из шести, да еще болезнь одного из них, заставившая его уйти в академический отпуск... Это не шутка. Это бросало тень на работу всей кафедры...

Короче говоря, в связи с недугами Марии Дмитриевны мы перешли под ферулу уже упомянутого мною заведующего нашей кафедрой.

Заведующим кафедрой у нас был выдающийся знаток античного мира – Аристид Иванович Доватур, узник сталинского режима, который стал одним из героев эпопеи Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг». В ней Аристиду Ивановичу посвящена почти целая страница. Солженицын охарактеризовал Доватуру как отвлеченного от сиюминутной, окружающей жизни любителя древностей, этакое *Gelehrte* (ученого), ошарашенного неведом откуда свалившейся напастью.

Нисколько не умаляя всесторонности ума Аристида Ивановича, добавлю все же, что ему не удалось избежать универсальной болезни, от которой страдали многие люди, безвинно подверженные репрессиям. Интеллигент до мозга костей, ничуть не борец по натуре, как вполне справедливо считалось на кафедре, он до конца своих дней не мог избавиться от смутения, от громадного страха, внушенного при аресте.

Впрочем, в этом тоже нет ничего удивительного. В таком же положении, по свидетельствам современников (хотя бы А.Панаевой), оказался выдающийся русско-украинский историк Н.И.Костомаров, знаменитый писатель Ф.М.Достоевский и масса прочих людей, содержание которых в царских тюрьмах и ссылках не идет ни в какое сравнение с «зэками» советского режима.

В памяти почти всех студентов, когда-либо обучавшихся у него, Аристид Иванович оставил самые теплые воспоминания. По моему убеждению, все это вытекает опять же из того бездонного страха. Аристид Иванович успел заглянуть в такие таинственно-мрачные уголки человеческой натуры, что вынес оттуда только одно: да какое значение имеют знания или незнания конкретным человеком основ греческого, латинского или какого-нибудь иного, самого экзотического языка? Какое вообще имеют значение знания в сопоставлении с изначальной человеческой природой? К примеру, он мог похвалить студента слишком неоднозначными словами: «Обратите внимание, друзья мои, на этого молодого человека: он совершенно не знает латыни!» Что же касается знаний – любой человек способен сам приложить потребные для того усилия. Главное со стороны наставника – не мешать подопечному поступать и действовать по своему разумению, предоставив ему возможность развиваться в соответствии с тем, что предназначено судьбою.

Аристид Иванович и старался поступать соответствующим образом, избегая всяких конфликтных ситуаций, чему, кстати, способствовала врожденная его доброта и мягкость. Впрочем, быть может, доброта, обусловленная громадной силой воли и богатым жизненным опытом. Он понимал, что обстоятельства стократ сильнее его. Кому, дескать, суждено стать ученым – того не миновать, не объехать на самой искусной кобыле. Все зависит от скрижалей фортуны. На них все записано...

Впрочем, не все здесь выглядит так безобидно.

Аристид Иванович был подвержен каким-то въевшимся в него предрассудкам, причем довольно серьезным. По моим наблюдениям, по моим «агентурным» (шутка!) данным, он был весьма внимателен при выяснении национальных корней того или иного сотрудника всей своей кафедры. Да и самого себя, изучив свою родословную вплоть до десятого колена... И лишь долгие годы, проведенные в заключении, в ссылке близ Питера (в упоминаемой Пушкиным Луге), довольно позднее возвращение в науку (докторскую диссертацию удалось ему защитить на исходе седьмого десятка!) – все это вынуждало Аристида Ивановича подавлять «дурные» порывы, таиться с ними до поры до времени. А время это закончилось только со смертью самого Аристида Ивановича...

Впрочем, я ему не судья, и никак не могу его в чем-то корить. Кто из нас, помыкаемых судьбами в те далекие нынче годы, волен был оставаться самим собою, не поддаваться всеобщей лжи?

Что же касается нас, родного ему отделения классической филологии тогдашнего ЛГУ им. А.А.Жданова, то Аристид Иванович, «Арик», как фамильярно, но с неизменной симпатией называли у нас его за глаза, – был более чем снисходителен к людям. А тем более – к нам. Никаких контрольных работ у него никогда не практиковалось. Никаких «неудов» мы не знали. Да и на самых ответственных экзаменах надо было чересчур изощряться, чтобы получить у него оценку ниже «четверки»! Разве что под давлением прочих «настырных» членов экзаменационной комиссии...

И все же, при Аристиде Ивановиче мы сразу же ощутили себя раскованными людьми. Все пошло-покатилось по-прежнему, вольготно и беззаботно. На занятия шли мы, как правило, с веселыми, бодрыми лицами. Собственно говоря, могли обогащать себя знаниями, а могли имитировать собственные старания. Грешен, сам я пошел по линии наименьшего сопротивления, оказавшись в числе неумеренных имитаторов...

Как бы там ни было, именно Аристид Иванович поспособствовал нашему пребыванию в Ольвии.

Надо сказать, что к указанному времени вместо выбивших трех моих однокашников у нас появилось двое новых, уже упомянутый мной Александр и девушка, которую также условно поименуем Лианой, Лилей. Чтобы перевестись на наше отделение, Александр потерял целый учебный год. (Забегая далеко вперед, скажу, что ему ничуть не пришлось в том раскаиваться: в классической филологии нашел он истинное свое призвание, стал доктором наук, справедливым и требовательным, то есть – замечательным педагогом). Новички довольно быстро наверстали упущенное, так что к преддверию третьего курса могли почитаться вполне успевающими студентами.

Аристиду Ивановичу удалось договориться с эрмитажными сотрудниками, супругами Еленой Ивановной Леви и Алексеем Николаевичем Карасевым, возглавлявшими «ведомство» археологических раскопок в древней Ольвии. Археологическая практика, надо полагать, почиталась одним из элементов образовательной подготовки филологов-классиков.

Человеком, представлявшим нам, по его предположениям, античный театр, и был только что названный мной Карасев.

Для Карасева Ольвия стала чем-то вроде родного дома. Он проводил в ней раскопки еще до Великой Отечественной войны и знал там каждую земную выпуклость и каждую впадину в почве. Наверное, зимую в Питере, современном ему Ленинграде (а жил на Московском проспекте, недалеко от меня, мне не раз приходилось бывать у него), он отчаянно тосковал по лиману, по его водно-знойным просторам, по благодатному тамошнему теплу. Наряду с прочими своими предположениями, он и выдвинул гипотезу об ольвийском античном театре, «привязав» дислокацию его к конкретному месту...

В Ольвии началась для нас воистину новая жизнь.

Отныне мы спали на деревянном полу в большой комнате бывшего поста пограничников. Но данное обстоятельство никого из нашей компании нисколько не тяготило. Будние дни начинались с подъема, завтрака у гостеприимной хозяйки, в хате которой квартировали Елена Ивановна и Алексей Николаевич, и неспешного возвращения назад в заповедную зону, на самом высоком месте которой, на сохранившейся античной гробнице, уже развевался яркий флаг, означавший начало работ.

Что касается самих раскопок, то нам лишь время от времени удавалось здорово размяться физически, перебрасывая массу слежавшейся, исследованной земли. Большей же частью приходилось расчищать какой-нибудь определенный квадрат, либо же древний колодец, выгребную яму, перебирая, фиксируя и зарисовывая мельчайшие находки, главным образом – черепки и кости. А еще там везде отыскивалось много так называемых «дельфинчиков» – местной монеты в виде мелкой рыбешки. Дельфинчики напоминали этих умных животных, которые, по верованиям древних греков, обладали даром пророчества и одним прыжком спо-

собны были не только вырваться из морских глубин, но и занять себе вполне достойное место среди высоких небесных созвездий.

Черепков там повсюду имелось в достатке. Иногда они образовывали довольно затейливую картинку, на основании чего у нас выработалась забавная шутка. Из лета в лето, из сезона в сезон, пожалуй, передавалась история о «животике» кентавра. Составные части этого получеловека, полуконя всячески стремилась разыскать Елена Ивановна, ученица легендарного для нас Б.В.Фармаковского, чтобы получить, наконец, полноцветное изображение его, помещенное на расписном сосуде, выделке местных, ольвийских гончаров...

Обеденный перерыв у нас продолжался довольно долго. Календарное лето, повторимся, было уже на излете, но приближения осени в том благодатном крае так и не чувствовалось до конца всего теплого сезона. Погода стояла отличная, ровная. За время нашего пребывания лишь однажды на синее небо набежали легкие перистые тучки. Да и они продержались не более часа, не выдавив из себя ни капельки влаги, и как-то бесследно растаяли.

Проработав весь день на свежем открытом воздухе, остававшееся время суток мы могли посвящать занятиям спортом, что и делали, более всего предпочитая игру в футбол, именно – стоянию «на воротах» на фоне кирпичного сарая, тогда как другие «полевые рабочие» пытались забить «вратарю» безответный гол. Помнится, стоять на воротах любил наш университетский «ментор», к сожалению, безвременно почивший...

А еще мы часами лежали на солнце, читали, изучали украинский язык, рисовали (я ходил на этюды). Спускались к лиману, соревнуясь в ловкости с козами, пасшимися на головокружительных прибрежных склонах, купались в соленой воде, запросто удерживавшей любое человеческое тело, ловили какую-то слишком медлительную рыбку, так называемых «бычков». С ними довольно легко можно было справиться одними руками, оглушив предварительно ударом чуть ли не голого не кулака. Оставалось только их подбирать.

Нелишне будет заметить, что я всегда почему-то старался заглянуть в ту часть заповедной Ольвии, где, предположительно, размещался в древности «карасевский» античный театр. Нередко направлялся туда в сопровождении юркого Брута, которого чаще всего тянуло на берег лимана: там вечерами, в синих прозрачных сумерках, при таинственном блеске воды, вспыхивали костры, слышались туристские песни. Бруту там можно было надеяться на весьма приличное угощение.

Когда же мы, наконец, укладывались в свои напольные жесткие «постели», по установившемуся ритуалу от каждого из нас требовалось «травить» анекдоты, и число их, услышанных тогда, не знало предела. Но даже в этом рассказывании, в полнейшей темноте, абсолютное большинство из нас не могло избавиться от страхов, внедренных, пожалуй, где-то на генетическом уровне. Когда я, помнится, рассказал анекдот о Владимире Ильиче Ленине, о том, как деревенский мужик, посетив его мавзолей на Красной площади, обругал вождя матом, сам того не заметив, – вместо здорового смеха ответом мне стало гробовое молчание.

Моими слушателями были люди сплошь городские, из привилегированных прослоек, которые все еще помнили наказания недавних лет. Это – во-первых. Во-вторых, среди нас могли быть (и были) сыновья гебистов. Кто мог знать, не «постучат» ли они куда следует, не известят ли своих папаш... Из простонародья, не привыкшего опасаться своих даже временных сотоварищей, был один я, вроде непуганой белой вороны, к тому же явный экстраверт...

Перед выходными днями, вечером, что говорить, в нашей просторной комнате, озаряемой огарком квелой свечи, появлялось... вино, причем в довольно большом количестве, чуть ли не ведрами. Мы пили его напрямую из этой ведренной емкости, зачерпывая кружками. Это был довольно легкий напиток, только что выдавленный из сочного винограда. Он ничуть не пьянил молодые крепкие головы, и его без опаски употребляли даже наши девушки-практикантки.

Но подобное, повторяю, случалось только в предвыходные дни.

Особенно же действовали на нас лунные ночи.

Разумеется, украинской ночи никто из питерских жителей дотоле не видел и даже представить себе не мог в дождливом северном городе, да и в ином каком-нибудь месте. Даже после гоголевского ее описания. «Знаете ли вы украинскую ночь?» – любил повторять университетский наш предводитель Никита Шебалин, сын замечательного композитора. И сам себе отвечал: «О, вы не знаете украинской ночи! Вглядитесь в нее...». На лице у Никиты, соединявшем в себе какую-то галльскую (французскую) элегантность и своеобразие отечественной дальневосточной породы в такие моменты возникал умело наигранный пафос...

Под влиянием этих ночей, не иначе, условно названный мной Александр, мой однокурсник, совершил настоящий подвиг, вплавь преодолев шестикилометровую полосу лимана. Что конкретно подвигло его на это – трудно сказать. Возможно, даже внимание наших девушек, одна из которых (придадим ей здесь имя Любы) впоследствии стала его женой. Быть может, уже тогда он раздумывал о своем будущем, отдыхая в пути и глядя в бездонное синее небо, в котором уже начинали вспыхивать первые звезды, которое было перечеркнуто крыльями редких птиц, если верить словам великого Николая Васильевича. Впрочем, выпади Гоголю лично обозревать объединенное Днепровско-Бугское водное изобилие – он бы придумал еще не такую метафору...

Студента, названного нами Александром и явившегося на незнакомый ему и всем нам противоположный берег, встретили там настоящие сумерки. Куда ему было направлять свои голые ноги? Где искать для ночлега место? О возвращении назад, как предполагалось, наверное, им перед этим поступком, не могло быть и речи. Во всем теле он чувствовал неимоверную усталость. С другой стороны – он был в одних плавках. Быть может, ощущал себя даже слегка Одиссеем в стране феаков...

Что же, он двинулся в направлении манящего огонька, горевшего не то в здании сельского клуба, не то в кулуарах местного сельсовета. Как бы там ни было, все советские граждане к тому времени хорошо еще помнили сталинскую шпиономию, лишь слегка ослабевшую при задиристом Никите Хрущеве. Простодушные местные селяне, мало что знавшие о затруднениях Одиссея перед глазами молоденькой Навсикаи, решили, что видят перед собою раскаявшегося диверсанта, только что выбравшегося из зловредной американской подлудки, бесшумно подкрадываясь к их спасительным берегам. Зря, подумалось им, Никита Сергеевич ликвидировал пограничные дозоры...

Незнакомца, вне всякого сомнения – человека русского, к тому же в очках (возможно, для маскировки?), изысканного без малейшего иностранного акцента, они всю ночь поддерживали под не замеченным им прицелом. Разумеется, предоставили ему возможность хорошенько выспаться, внешне даже поверили в «сочиненную» им легенду о принадлежности к клану питерских археологов. А тем временем, наверное, известили район и соответствующие надзорные органы...

Слава Богу, все обошлось благополучно. Названный Александром студент возвращен был к полудню нового дня. Его привезли на лодке, зато уж точно удостоверились, что все им рассказанное – чистейшая правда. Он действительно принадлежит к археологической экспедиции, так что... Чего не бывает в жизни?

При встрече с Карасевым, сильно встревоженным стариком, наш друг опустился на колени и принялся посыпать себе голову пеплом, прихваченным из туристского кострища. Это было для него единственным оправданием своей едва ль не мальчишеской выходки, скорее – *ultimum argumentum regum*⁵. Страшно даже представить меру всех неприятностей для Карасева и Леви в случае неблагоприятного исхода этой маленькой одиссеи...

⁵ Последнее доказательство королей (лат.).

Мы же в тот вечер как-то не сразу хватились отсутствия нашего товарища. Да и не беспокоились особо, даже когда хватились. Ну не явился парень ко сну – так задержался в сельской библиотеке. Бывает с ним. Или засиделся на берегу лимана, сейчас придет. Увлёкся гостями... Заслушался какого-нибудь «балакучего» местного старикашки... Обычно мы все не придерживались нашего домика, коль рядом такое доступное водное приволье, на берегах которого, в густых синих сумерках, пылают костры, раздаются песни, звенят гитарные струны, слышатся призывные голоса девчат... А тут еще эти лунные ночи! Господи! «Видно, хоч голки збирай», – задумчиво пела парутинская молодежь. Как усидеть...

И все же мы ощутили какую-то тайную тревогу. Пожалуй, знать кое-что о случившемся мог лишь Никита Шебалин. Однако он не подавал вида, загадочно отводил глаза...

Движимый этой тревогой, зачем-то я выбрался из нашего домика и сразу же ощутил на себе воздействие украинской ночи. Ежедневно, сотни раз озираемые мною деревья предстали вдруг погруженными в загустевший голубоватый сумрак. Наш дом оказался под сияющей серебряной крышей. Труба на ней засверкала волшебными камнями, готовыми вот-вот подняться и растаять в прозрачном бездонном небе, «с середины которого смотрит месяц»...

Побуждаемый непонятным чувством, выбрался я за пределы условного дворового пространства, однако не направился вниз, налево, по сбегавшей к лиману зигзагообразной тропинке. Пошел зачем-то по направлению к раскопкам, сопровождаемый неизвестно откуда явившимся взъерошенным Брутом. Пес бежал впереди меня, как бы зовя за собой.

Вот и гробница, на которой торчит сейчас совершенно праздный флагшток, лишенный обычного ярко-красного полотнища. Вот потянулась вымощенная камнями брусчатка главной городской улицы давно исчезнувшего города, ведущей к агоре (рыночной площади), к так называемому теменосу (место стоявших тогда святилищ). Вот и квадраты наших зияющих под луною раскопов... Но какие они... Господи! Их не узнать под этим чарующим лунным светом...

Уж и не припомнить сейчас, как и когда оказался я в том самом месте, куда, ради ознакомления с заповедником, увлекал нас всех Карасев. Да, это было место предполагаемого им античного театра.

Но как оно теперь выглядело!

Затененная часть пространства почудилась до отказа заполненной человеческими существами. В любое мгновение они готовы были взорваться рукоплесканиями, криками «браво!», не знаю, чем еще. Тогда как эпицентр всего этого, предполагаемая Карасевым «орхестра», сцена, была залита ослепительным лунным сиянием, готовая незамедлительно принять актеров, хористов. Все это, весь представший огромный амфитеатр, казался наполненным синеватыми тенями. Все утопало в непрерывном перемещении, кипело неудержимой энергией. Набежавший откуда-то ветерок лишь усилил иллюзию.

Заслышав шум перемещаемого воздуха, завидев результаты его незримой работы, Брут мигом прижал к голове свои острые уши. Зарычал, вздыбил на загривке шерсть. Но, присев на передние лапы, тут же сообразил, что обмишурился, и разом обмяк всем телом...

В Питер мы возвратились после месячного ольвийского пребывания.

Уезжали рейсовым катером, ночью, так что мне опять не пришлось любоваться парутинской панорамой во всем ее великолепии и объеме. Однако все это ничего уже почти не значило: с ольвийскими берегами я ознакомился во всей их красе. Увозил даже несколько сделанных красочных этюдов, с красными берегами над синей прозрачной водою, с затерявшимися в дали голубыми просторами, с гробницей на самом высоком месте при ярко-красном флаге. Даже с нашим неказистым домиком под вековыми деревьями...

На прощание, перед тем, как выпить последнюю чашу парутинского вина и съесть последнюю гроздь винограда, успел еще раз сходить на то место, где когда-то размещался античный театр. Солнце как раз клонилось к закату. Длинные тени бороздили крутые склоны, отчего все

там выглядело необыкновенно новым, совершенно незнакомым. И снова мне показалось, что амфитеатр весь наполнен живыми существами...

В Питере я властно почувствовал, что интерес к античному театру невольно захватил меня. Я даже стал сожалеть, что в недостаточной степени обращал внимание на лекции профессора Дмитрия Павловича Каллистова, который читал нам историю Древней Греции. Биография Каллистова в значительной степени оказалась схожей с биографией Аристида Ивановича: он также был узником Гулага и также стал одним из действующих лиц эпопеи Александра Солженицына. А чем заинтересовал меня Каллистов, так это тем, что им была написана книга об античном театре.

Все, что касалось древнегреческих представлений, – попадало теперь в поле моего пристального внимания. Многому в этом плане обязан я Наталье Александровне Чистяковой, излагавшей нам историю древнегреческой литературы, в том числе – и античной драматургии. Немудрено, что классическая древнегреческая драма стала темой моей курсовой работы, выполненной на материале «Медеи» Еврипида. Наталья Александровна сочла курсовую чуть ли не образцовой. Правда, в последний миг поняла, что в ней ощущается сильное влияние Иннокентия Федоровича Анненского, переведшего на русский язык все трагедии Еврипида. Восторженный пыл наставницы после этого несколько привял...

Впрочем, что говорить. После поездки в Ольвию я получил богатейший материал для длительных размышлений. Мне очень хотелось каким-то образом пособить Карасеву в разгадке тайны ольвийского театра. Однако... Впоследствии оказалось, что месторасположение античного театра в Ольвии было изуродовано, почти уничтожено оползнями, случившимися еще чуть ли не до нашей эры...

Зато теперь точно могу сказать, что конкретно дало мне толчок к написанию предлагаемой читателю книги...

Театр одного актера

*Весел бог черноволосый,
Ждет вечерней темноты.
Кое-как льняные косы
У подружки завиты.
Скрыто небо черной тучей,
Мгла нисходит на поля...
После чаши – ласки жгучи
И желанный одр – земля.*
Валерий Брюсов

Аттика

*После того, как в Афинах воцарился Кекроп и эта область,
дотоле называвшаяся по имени местного жителя Актия Актикой,
стала называться Кекропией, прошло 1318 лет.*
Паросский мрамор⁶

Всем событиям, о которых ведется речь в этой книге, так или иначе предстоит замыкаться на древней аттической земле. В силу чего, полагаю, читателю книги не лишним будет ознакомиться с Атикой хотя бы в общих чертах.

Ни для кого не является секретом, что любое животное существо гораздо комфортней и безопасней ощущает себя в каком-нибудь закутке, ограниченном надежными стенками, расходящимися или сходящимися под углом у него за спиной. Так, например, ведет себя крохотный котенок. Так поступает дерзкий щенок. Не слишком отличаются от малышей и взрослые особи. Обезопасив тылы, животные спокойней следят за всем, что происходит перед их глазами.

Нечто подобное испытывали древние эллины, оказавшись на каком-нибудь полуострове, речном или морском мысе, где слева и справа от них расстилается водная гладь.

Именно такими природными свойствами отличалась аттическая земля, расположенная в центре эллинского мира, но вместе с тем – чуть-чуть в стороне от давно установленных больших сухопутных дор ог.

С востока аттические берега омывались узкой водной полоской, неглубоким проливом, отделявшим их от обширного островного массива. Массив назывался Эвбеей.

С юга набегали на Аттику волны обычно спокойного Саронического залива, на гладкой поверхности которого, при тихой погоде, различались контуры острова Эгина. Пешему путнику удавалось пересечь Эгину с севера на юг за каких-нибудь два часа.

За этим островом возвышалась уже территория Пелопоннеса, точнее – гористая Аргонида со своими древнейшими городами – Микенами, Аргосом и Тиринфом.

Совсем рядом с Атикой, у полуденных ее берегов, но ближе к западной их окраине, вытыкался из моря другой крупный остров – Саламин. Его окружали удобные бухты с заливами, песчаными мелями и гостеприимными берегами – мечтою потомственных мореходов. Для жителей Аттики Саламин стал предметом продолжительных споров с Мегарами. За мегарцами жителям Аттики приходилось следить постоянно.

Мегарская земля, соседствующая с Атикой, отличалась сплошным гористым ландшафтом. Ее протыкали дороги, бегущие с севера на юг Балканского полуострова. В западной части

⁶ Установлен на острове Паросе в 264/263 гг. до н. э.

Мегар возносился к небу каменный кряж Гераннион. В нем зиял узкий проход над обрывистым берегом моря, напоминавший собой пресловутые Фермопильские ворота, расположенные на севере Греции и представлявшие первую преграду для врагов, вторгавшихся со стороны Европы.

На северо-западе граничила с Аттикой богатая во всех отношениях Беотия, знаменитая многовековой историей, а также своей древнейшей столицей – семивратными Фивами, крепостью Кадмеей.

Мысли о тесном мегарском проходе, быть может, прежде всего овладевали сознанием хищных завоевателей, продвигавшихся с севера на юг. Миновав Беотию, наверное, забывали они об Аттике, считая ее совершенно непривлекательной. Невидимая глазу земля оставалась по левую руку. Завоеватели устремлялись к узкому горному проходу, небезосновательно полагая, что встретят там слишком опытных воинов, знающих каждую тропинку и каждый каменный выступ в неприступно-высокой скале. Быть может, в пылу захватнических порывов, вторгшиеся даже не подозревали, что за горными массивами скрывается наиболее привлекательная часть страны.

Преградой, прикрывавшей Аттику со стороны Беотии и Мегар, был разветвленный горный массив Киферон (1409 метров) и его продолжение – Пárnес (1413 метров).

Пришлые люди, будь они даже завоевателями или купцами, странниками или просто мирными путешественниками, которым удавалось преодолеть указанные горы, – попадали в Аттику и тут же останавливались, сильно озадаченные. Перед ними было вытянутое с юга на север значительное пространство. От южной оконечности до северных границ его насчитывалась добрая сотня нынешних километров, тогда как вся совокупная ширина Аттики была раза в два меньше. Она казалась, да и в самом деле была довольно скудна водою и тоже достаточно гористой.

В северо-восточной части Аттики возносились горы Пентеликона (1109 метров), недра которых распирали залежи добротного природного мрамора. На юго-востоке – тянулись горы Гиметт (высшая точка более 1000 метров), известные своим удивительным медом, а также белым мрамором с чуть заметным голубоватым отливом.

Еще на юго-востоке Аттики стояли невысокие горы Лаврион, таившие в себе залежи ценного в древности серебра.

Со всех указанных гор стекали редкие в Аттике реки, именно – с Пентеликона Кефис, с Гиметта – Илис, в свою очередь впадающий в Кефис. Летом все эти реки мелели, пересыхали, пропадали вовсе.

Значительную часть аттической территории составляли зеленые равнины: Афинская, Элевсинская, Марафонская и так называемая Мезогайя – срединная земля, упиравшаяся краями в горы Гиметта и Пентеликона. На всех упомянутых мною просторах можно было с успехом выращивать сельскохозяйственные растения, заниматься прибыльным скотоводством.

Нет ничего удивительного, что перечисленные равнины стали весьма притягательными для людей. Именно на них появились древнейшие поселения, а сами наименования их превратились впоследствии в названия городов – Афины, Элевсин, Марафон.

Вблизи Саронического залива, в пяти-шести километрах от берега моря, внимание человека привлекало заметное издали возвышение из залежей бурого известняка. Оно было вытянуто с запада на восток. Самая высокая точка его достигала 146 метров над уровнем моря.

Первое, что поражало местных жителей при взгляде на этот уникальнейший холм, – обилие всевозможных змей. В древности они считались обладателями тайной и мудрой силы. Эта сила угадывалась во взгляде застывших красноватых глаз на точеной змеиной головке, в движениях чуткого тела. Змеи считались олицетворением мудрости, благодаря их природной близости к матери земле. Они слыли прямым ее порождением.

Конечно, похожим образом относились к змеям и обитатели Аттики. Но то, что им удалось наблюдать на склонах данного холма, – превосходило все человеческие представления. На холме бурлило настоящее змеиное царство. На раскаленных солнцем каменных склонах согревалась живая шевелящаяся масса. Гибкие тела, словно стебли ползучих растений, обвивали стволы деревьев, чудом проросших среди сплошного царства камней. Поспешно и весело шлепались змеи брюхом на камни и, с леденящим душу шуршанием, втискивались в еле заметные норки и в узкие щели.

Пастухи, у которых время от времени отбивались от стада и пропадали помеченные ими козы, вынужденно заглядывали в пещеры на склонах загадочного холма. После этого клялись всеми существовавшими олимпийскими богами, что творимое в полумраке пещер стократно превосходит все видимое на раскаленных лучами склонах. Пастухи уверяли, будто в пещерах обитают змеи невиданных прежде размеров. Будто у них завелись свои государи! Дескать, им, пастухам, неоднократно приходилось видеть змею в золотой короне и даже в роскошных царских одеждах.

Змеиные правители, в представлении местных жителей, естественно, не могли не быть связанными с небесными силами, с могущественной богиней Геей. Первым аттическим царем, понятно, стало также загадочное существо, рожденное этой богиней. То был вроде бы даже почти человек, отличавшийся лишь громадной головой и пронзительным взглядом мудрых, все понимающих глаз. А еще – пышной гривой жестких волос, ниспадающих на довольно узкие плечи, да длинным змеиным хвостом, извивающимся в крупных кольцах.

Взобравшись на высокие камни, каким-то скрипучим голосом, существо неожиданно заявило:

«Лю-ю-ди! Меня зовут Ке-кро-пом... Я буду всеми вами пра-а-вить! М-да!»

Жители аттической земли не без удовольствия подчинились этому странному повелению. Кекроп довольно быстро возвел укрепление на известняковом холме, ставшем центром всего государства. Устроенную крепость назвал по-своему, точнее – в честь своего необычного имени – Кекропия. Слово вскоре перешло в название всего государства.

При Кекропе же, по преданию, случилось весьма памятное состязание Афины с родным ее дядей, морским божеством Посейдоном. В результате победы богини первый аттический город обрел ее звонкое имя, а высокий холм в центре города стали называть Акрополем.

На Акрополе вырос и храм Афины. В нем поселилась гигантская змея, знаменовавшая собою присутствие высшей покровительницы всего афинского племени.

Афина научила эллинов разведению оливы. Это стало для них источником очень больших богатств.

Свое новое название – Аттика – говорили в народе, страна получила по имени царевны Аттиды, дочери следующего афинского царя Краная, сменившего загадочного Кекропа⁷.

Кранай был уже вполне человеком. Аттида, правда, умерла в девичестве, а вскоре после этого Зевс наслал на людей потоп, который продлился девять непроглядных дней.

По всей вероятности, потоп не коснулся семейства аттического царя. Известно, что вторая дочь его вышла замуж за отпрыска уцелевшего от страшного бедствия благочестивого праведника – Девкалиона. Девкалионова сына звали Амфикионом. Ему очень понравилась аттическая земля. Вскорости, свергнув тестя, зять самолично уселся на еще не остывшем его престоле.

Одним из неожиданных результатов этого государственного переворота стала дружба нового царя с богом виноделия Дионисом. Разведение винограда сделалось дополнительным источником богатств аттической земли.

Так начиналась история этого края.

⁷ Согласно надписи на Паросском камне название Аттика связано было с именем какого-то местного жителя.

Зачинатель Феспид

*Я – тот Феспид, что впервые дал форму трагической песне,
Новых харит приведя на празднество поселян
В дни, когда хоры водил еще Вакх, а наградой за игры
Были козел да плодов фиговых короб. Теперь
Преобразуется все молодежью. Времен бесконечность
Много другого внесет. Но что мое, то мое.*

Диоскорид. Эпитафия Феспиду⁸

*Изобретателем песен безвестной, трагической музыки
Был, говорят, Феспид, возивший театр на телегах,
На которых играли, раскрасив лица дрожжками...*

Квинт Гораций Флакк⁹

*Об актерах судят по голосу,
о политиках – по их мудрости.*

Демосфен

Античные греки, надо полагать, готовы были поспорить с нашим всемирно известным театральным деятелем – Константином Сергеевичем Станиславским, считавшим, что театр начинается с вешалки. Нет, утверждали древние эллины. Театр начинается с Фэспида!

Более того, они были твердо уверены, что театральное искусство зародилось на их земле. Еще бы: в основе этого емкого термина лежит древнегреческий глагол *θεάομαι* (глядеть, смотреть, взирать), от которого и происходит слово *θέατρον*. Первоначально слово означало лишь место для общественных собраний, а затем и театр – в современном его понимании¹⁰.

Феспид, разумеется, был вполне земным человеком, с ограниченным сроком жизни. Мало кто лично мог знать основателя театрального искусства, но память о нем передавалась из поколения в поколение.

Феспид представлялся очень веселым, бесшабашным парнем, непременно кудрявым, с мягкой, но дерзкой бородкой, высоким и чересчур энергичным. К чему бы ни прикасались цепкие руки его – все получалось в наилучшем виде.

Будучи уроженцем Марафонской долины, Феспид с раннего детства становится свидетелем торжественных ежегодных праздников. Они озадачивали отрока своим безудержным буйством, размахом и невообразимой красочностью.

Празднества, посвященные богу Дионису, были неразрывно связаны с культом виноградной лозы, с созреванием и сбором прозрачных и сочных ягод, с производством и хранением вина. Они выглядели самыми частыми и самыми продолжительными, роскошными и слишком богатыми. Поспорить с ними могли разве что Панафинеи – торжества во славу богини Афины.

В честь Диониса, скажем, в Афинах установлено было сразу четыре торжественных даты: в декабре-январе – сельские Дионисии, в январе-феврале – так называемые Ленеи (по названию афинского квартала, где были сосредоточены многие храмы этого бога), в марте-апреле

⁸ Перевод с древнегреческого Л. Блуменау.

⁹ Перевод с латинского А. А. Фета.

¹⁰ Не следует забывать, что искусство перевоплощения культивировалось греками задолго еще до рождения Фэспиды: вспомним хотя бы хитрости Одиссея, прикинувшегося безумцем, когда ему чересчур не с руки пришлось отправляться на Троянскую бойню. Или его же, искусно сыгравшего роль безродного странника перед претендентами на руку его жены Пенелопы.

– Великие (городские) Дионисии. К этому следует добавить еще анфестерии, праздник цветов (в феврале-марте), связанный с пробуждением всей окружающей природы.

Никто не видел живого бога Диониса, но сопровождавших его людей эллины описывали столь рельефно, ярко и правдоподобно, что у слушателей не возникало почти никаких вопросов. Свиту Диониса греки могли воссоздать наяву, особенно в те периоды, когда упивались его дарами: вином, полученным из гроздей последнего урожая.

Первыми славили Диониса вереницы деревенского люда. Поскольку, согласно преданиям, этот бог появился в Элладе на корабле, то роль его исполнял земной человек. Как правило – это был переодетый жрец, которого сельчане усаживали в большую раскрашенную лодку, поставленную на крепкие колеса. В руки «богу» давали побеги виноградной лозы. Виноградными ветками опутывали также все его тело. На голову воображаемому богу водружали венок из вечнозеленого плюща, также украшенный яркими лентами. Лицо и руки сошедшего вниз «олимпийца», всю открытую глазу кожу его обмазывали вдобавок красным соком, точнее – виноградным суслом. В довершение – мнимому небожителю вручался волшебный жезл, прикосновениями которого можно было совершать невероятные превращения.

Тут же в лодке-повозке, рядом с богом, восседали спутники-сатиры, непременно в бородатых козлиных масках и с длинными развесистыми рогами. Они дули в духовые инструменты. Кожа их также была измазана красным суслом, а тела – украшены завитками виноградной лозы.

Телегу-лодку тащили такие же бесшабашные люди, наряженные лесными сатирами: к телам у них были подвязаны лошадиные и ослиные хвосты, к ногам – соответствующие копыта. Лица их прикрывали козлиные маски, руки сжимали кожаные меха, переполненные рвущимся на волю вином. У многих виднелись бубны, флейты, тирсы.

Люди тащили не только лодку-телегу. Водили с собою жертвенных животных, распевая при этом величальные, а то и задорные, даже срамные, песни. Вокруг кричали и резвились женщины, дети. Не утихала ритмичная музыка...

Эта радостная толпа, так называемый комос, бродила от селения к селению. Там, где она останавливалась хотя бы на коротенький отдых, приносились обильные жертвы. Хвалебные песнопения в честь Диониса исполнялись хорами, насчитывавшими, как правило, не менее полусотни поющих и пляшущих участников.

Веселившиеся люди старались припомнить все, что было известно о великом боге, о его очень трудной жизни, богатой событиями и многочисленными приключениями. Участники комоса повествовали об этом не только песнями, танцами, музыкой, мимикой, но и всеми элементами вычурного убранства.

Своим молчаливым веселым видом и своим личным поведением спустившийся на землю Дионис как бы подтверждал все сказанное по его адресу. К нему можно было обратиться с любым надлежащим вопросом. Кивком разукрашенной головы он мог «узаконить» все пропетое хором.

По рассказам отца, по забавным словам раба-педагога, на основании хвалебных песен хора – в голове у Феспида вырабатывалась картина всей предыдущей жизни столь необычного божества...

О, гряди, Дионис благой,
В храм Элеи,
В храм святой,
О, гряди в кругу харит,
Бешено ярый,
С бычьей ногой,
Добрый бык,

Добрый бык!

Народная эллинская песня.¹¹

Началось все с того, что властитель заоблачного Олимпа, всесильный Громовержец Зевс, выкрал приглянувшуюся ему дочь ливийского (африканского) царя Агенора, красавицу Европу. Ради этого Зевсу пришлось превратиться в белошерстного быка. Примостив любопытную девушку на бычью спину (вспомним живопись Валентина Серова; правда, бык там не белый, но огненно-рыжий), бог поспешил с ней на остров Крит. Там Европа родила ему трех сыновей: Миноса, Сарпедона и Радаманфа. Первый из них впоследствии стал знаменитым критским властителем...

Царь Агенор, между тем, отправил в погоню своих сыновей, одним из которых был шустрый царевич Кадм. Устав от напрасных поисков, Кадм добрался до Балканского полуострова и, поскольку безрезультатная дорога домой оказалась строго заказанной, поселился невдалеке от будущих Афин. Основав там крепость Кадмею, возле которой вырос знаменитый впоследствии город Фивы, заморский царевич стал родоначальником новой династии.

Миновали неспешные годы, и у фиванского царя появились собственные дети, рожденные ему красавицей Гармонией, дочерью бога войны Ареса и богини красоты и любви Афродиты. Все они, правнуки Зевса, поражали людей необыкновенно прелестным видом, что опять-таки не могло ускользнуть от внимания верховного бога.

Особенно глянулась Зевсу царевна Семела. Познакомившись с нею на склонах горы Киферон, бог принялся наведываться в царский дворец под видом простого охотника. В этом убеждал всех сверкающий сталью нож за его тканым поясом, мелкая сеть для птиц и меткий лук за мощной божественной спиной.

О проделках Зевса проведала ревнивая супруга Гера. Опасаясь крутого нрава своего повелителя, Гера подговорила прочих дочерей Кадма, и те принялись досажать Семеле насмешками.

– Сестра! – ухмылялись они, – на свидания ходит к тебе вовсе не Громовержец, а какой-то смазливый пастух... Не веришь – подговори своего ухажера, пусть явится в том убранстве, в котором Зевс восседает на троне!

Сбитая с толку, девушка так и поступила. Чем и погубила себя. Жительница земли, она не выдержала вида божественного могущества, сгорела в огне. Однако в кучке воздушной золы, оставшейся от ее черного трупа, зашевелился живой комочек. Им оказался плод, недоношенный несчастной матерью.

Завидев такое, Зевс без раздумий полоснул себя ножом по бедру. Зашив находку под кожу, удалился он на высокий Олимп, а в положенные сроки вскрыл раздувшееся бедро и содрогнулся от крика младенца. Это был его сын, которому он тотчас придумал имя Дионис (иначе – Вакх).

Обретенного ребенка Громовержец велел воспитать подальше от глаз обманываемой супруги. Да только она, пронюхав о рождении нового человечка, всячески стала ему вредить. Дионису пришлось оставить родные пределы и долго скитаться в чужих краях. Наконец, на легком парусном судне, совершая в пути чудеса, возвратился он снова на родину.

Отыскав на Балканах виноградную лозу, Дионис принялся обучать земляков разведению нового для них растения. За ним следовали целые толпы сторонников, прославлявших его как избавителя от стеснительных пут, позабыть о которых позволяло теперь молодое вино.

Вот тогда-то люди и стали сбиваться в веселые шествия, тон в которых задавали неистовые почитательницы Диониса (Вакха), вакханки, иначе – менады. Украшенные ветками виноградной лозы, полуобнаженные, едва прикрытые оленьими шкурами, с распущенными воло-

¹¹ Перевод с древнегреческого Я. Голосовкера.

сами, с приткнутыми к поясам бездыханными змеями, – женщины дико визжали, размахивая палицами-тирсами. Они увлекали за собой все новые и новые толпы. Опьяняя себя и всех окружающих брызгами теплой крови, вакханки сокрушали на пути все встречавшееся им зверье.

Непременными спутниками Диониса выступали также сатиры и силены – демоны плодородия в виде человекообразных существ, но с покрытыми шерстью телами. Стуча по земле копытами, они со свистом хлестали друг друга хвостами. При этом мотали лохматыми головами, на которых сверкали раскрашенные охрой рога. Немало было там и прекрасных лицами нимф, обитающих в ручьях, озерах и в реках.

Все упомянутые существа галдели, пели, кричали, то усаживаясь на выючных животных, то перелетая через их скользкие от вина хребтины, то скатываясь в пружинистые зеленые куши. Вся эта публика раз за разом горячила себя вином, которое вырывалось из еле удерживающих его мехов...

На фиванской (беотийской) земле Дионис и его спутники прежде всего объявились в древнем городе Орхомене, где верховодил царь Миний. У Миния было три дочери: Левкиппа, Арсиппа и Алкафоя, восхитительные красавицы. А еще – непревзойденные мастерицы шитья, вышивки и разнообразного ткачества. Они настолько были поглощены своими работами, что порой забывали о праздниках. Не переменились девушки и в тот роковой для них день, когда все обитатели царства устремились в горы, следуя за новым богом.

Что же, царевны были наказаны страшным безумием. В состоянии, свойственном вакханкам, они растерзали сына старшей сестры, приняв его за крохотного олененка. Кровью невинного дитяти все-таки приобщились к новому культу.

Однако это их уже не спасло. Роскошный царский дворец в Орхомене Дионис одним мановением волшебного жезла превратил в виноградник, а царевен – в летучих мышей, его обитательниц.

Не лучшим образом сложились и отношения нового бога с его земными родственниками. Старик Кадм к тому времени уступил уже власть своему наследнику, подростку внуку Пенфею, сыну старшей дочки Агавы, которая больше всех прочих способствовала гибели Семелы. Пользуясь безволием царского внука, Агава фактически правила государством.

Как только в высокой Кадмее стало известно, что к ней приближается новый бог, вроде бы сын покойной Семелы, – Агава и ее сестры не пожелали об этом и слышать. Конечно, вспоминали они, Семела хвасталась при жизни, будто бы к ней навещается сам Громовержец Зевс. Однако после ее безвременной гибели не осталось решительно никого.

Агава воздействовала на своего безвольного сына, и тот разослал повсюду приказы: никакого Диониса в мире не существует! Никто не смеет оказывать почести случайно забредшим проходимцам, приносить им жертвы и отправляться в горы, чтобы истязать себя там в сумасшедших плясках!

Пенфей не доверял рассказам о чудесах, творимых каким-то Дионисом. О том, что где ни появляется этот самозванный божок – сразу же расцветают деревья, ручьи наполняются молоком, а дупла старых дубов источают сладчайший мед. Дикие звери при виде его становятся якобы ласковыми, и сердца людей разрываются от непонятной бешеной радости.

Царские приказы быстро возымели действие. Когда Дионис прибыл под стены Кадмеи – он не увидел большинства своих почитателей.

Что же, в сопровождении необычно жиденькой свиты, бог удалился на склоны лесистого Киферона. Но не успела эта немногочисленная свита скрыться за деревьями, как вслед за ней потянулись женщины. Громче всех прочих в толпе неистовствовали царские дочери – Агава, Инó, Автоноя. Почти обнаженные, как истые вакханки, они громче всех сбежавшихся горлалили песни, колотили в бубны и выше всех прыгали в бесстыдных танцах.

Конечно, царь Пенфей не потерпел послушания подданных. Собрав воинов, устремился с ними в погоню. Воины слышали уже звуки бешеной музыки, грохот многочисленных барабанов, – но ничего еще не видели.

Удивленный, Пенфей вознамерился было устроить привал, как вдруг оказался в кольце безумно пляшущих женщин. Все они были с тирсами в руках и с мертвыми змеями на неустойчивых поясах. Их возглавлял кудрявый юноша удивительной красоты, но довольно хлипкого сложения. О колени красавца ласково терлись дикие звери, заглядывая ему в глаза.

– Хватайте его! – закричал Пенфей. – Сгною негодяя в подземелье замка! Хватайте!

Однако воины были не в силах сдвинуться с места. Никто среди них не мог шевельнуть рукою, отделить от земли приросшее к почве копьё. Более того, древка копий выстреливали побегими, превращаясь в буйствующую виноградную лозу.

Лобастый юноша, с улыбкой на обрамленном кудрями лице, указал на Пенфея веткой лозы. Царь вдруг почувствовал, как в его тело впиваются тысячи жестких пальцев. Ему враз почудилось, будто среди окружающих лиц он видит родное материнское. Различил и глаза своих тетушек, которые не узнавали его.

– Что вы делаете? – закричал Пенфей. – Матушка! Тетушки! Боги!

Однако голоса его уже никто не слышал. Единственное, что осталось от растерзанного вакханками царя, из чего можно было сделать вывод, что случилось на этом месте, – была его голова. Агава три дня и три ночи проплясала с нею в горах...

В Аттике лучше всего виноград созрел в Марафонской долине, и данное обстоятельство не ускользнуло от внимания зоркого Зевсова сына. Чтобы не возиться лично с плодоносной лозой, Дионис вручил побегу ее местному обывателю по имени Икарий. Получив соответствующие инструкции, прихватив с собой дочь Эригону и собаку Мойру, Икарий принялся разъезжать по окрестным землям, уговаривая земляков культивировать почти неизвестное им растение. О чем бы ни заговаривал этот энтузиаст, кто бы ни встречался ему на пути, – все у него сводилось к разговорам о винограде. О том, какие напитки получаются из прозрачных плодов. Дошло до того, что однажды Икарий приготовил напиток из виноградных ягод, угостил им встреченных на пути пастухов. Они же, не смешивая вино с водою, напились до умопомрачения и решили, что отравились. Разъяренные, пастухи бросились на Икария, избили до смерти. А на утро, сообразив, что все живы, тайно похоронили тело.

Дочь Икария, Эригона, при помощи собаки Мойры, отыскала труп родителя. Безутешная девушка с горя повесилась на дереве, посреди осиротевшего виноградника. Бог Дионис пристыдил пастухов за проявленную глупость, повелел не только родную деревню убитого, но и всю эту местность называть Икарией. После этого случая пастухи, да и все эллины, никогда не пили неразбавленное вино, но непременно смешивали его с водой. Пострадавших Икария, его дочь Эригону и собаку Мойру, по инициативе Диониса, боги вознесли на небо и превратили в сверкающие звезды: Икарий стал Арктуром, Эригона Девой, Мойра – Псом...

Феспид, уроженец Икарии (современный Дионисос), не войдя еще в надлежащий возраст (а родился он, надо полагать, примерно в 580 году до н. э.), плясун, а то и сам первоклассный учитель танцев, почувствовал в себе какое-то странное томление. Заглушать его удавалось лишь приобщением к празднествам бога Диониса. А также тем, что он долго смотрел на созвездие Арктура, Девы и Пса...

Попробовал было сочинять стихи для запевал и для хора. Стихи получались что надо. Славившие Диониса строчки знаменовали собою яркие эпизоды из жизни веселого божества. Быть может, то были моменты, связанные с судьбою царя Пенфея. Во всяком случае, литературоведам известно даже название одной из первых на земле трагедий, авторство которой приписывается Феспиду¹². Посвящена она была богу Дионису.

¹² Слово трагедия означает буквально песнь козла или даже песнь за козла, которая, стало быть, служила наградой за

Вполне возможно, что в указанном сочинении все выглядело еще абсолютно традиционно: стихотворными строчками хор обменивался с запевалой, который, впрочем, носил название гипокрит, что значит всего-навсего «отвечающий». Вскоре Феспид сам становится таким гипокритом, вроде современного нашего актера. Ответы его обретают абсолютную раскованность и постоянно растущую многословность. Он отвечал хору, превращаясь, вероятно, на время то в юного Диониса, то в тугодума Пенфея, то в его мать Агаву, то в пешех вестников.

Чтобы усилить воздействие на зрителей, Феспид придумал маски, побуждаемый к этому цветом виноградного сусла, которое, нанесенное на кожу лица, делало человека просто неузнаваемым. И каждый раз прикрывался новой маской, хранимой на дне телеги-лодки, на которую сельчане усаживали опьяненного жреца. Маски покрывали не только лицо, но и всю голову гипокрита. Роли исполнял он на разные голоса, с разными ужимками и оттенками речи.

Это было зрелище, в котором Феспид стал наиболее притягательным субъектом. Это был прообраз театра одного актера, иначе не скажешь. В нем Феспид в одинаковой степени выступал гипокритом, автором текстов, сочинителем музыки, постановщиком танцев. Мы бы сейчас сказали: он был драматургом, артистом, композитором, хореографом, сценографом, художником.

Эффект получался необыкновенный. За скрипучей телегой-лодкой его постоянно тянулись восторженные земляки...

Объехав близлежащие селения, едва дождавшись очередных Дионисий, Феспид отважился направить колеса в сторону громкоголосых Афин.

В город совоокой (Υλαυκωλις) богини мудрости он явился с собственным хором и с телегами, влекомыми круторогими волами (на изображении из колокольни ди Бондоне Джотто во Флоренции волы заменены другими животными, более привычными глазу итальянского созерцателя). На дне телег громоздились маски, изготовленные из тряпок, глины, воска и дерева. Они зырили на всех любопытствующих огромными, вытаращенными глазами и пугали их непомерно широкими ртами, из которых, казалось, готовы были вырваться дерзкие слова. К раскрашенным маскам были приклеены пышные волосы. Такими же яркими красками отличались и сказочные убранства, предназначенные для царей, различные посохи, жезлы, короны.

Представления в Афинах, как и везде, совершались у жертвенников Диониса, после соответствующих процессий и принесения жертв богам. Любопытные зрители теснились прерывистым полукругом, то замирая от ужаса, то взрываясь безудержным хохотом. Они сгорали от нетерпения: что последует дальше! Кто-то усаживался на прихваченном по дороге обручке, кто томился на жестких камнях, на подогнанной нарочито повозке. Кто – верхом на осле с беспокойным и пыльным ухом. Кто взбирался на крепкое дерево, кто довольствовался местечком на выгоревшем пригорке.

Надо сказать, что подобные сборища не оставались вне поля зрения государственных мужей. Шумные зрелища вызвали всеобщий интерес.

Среди зрителей оказался и мудрый Солон, только что, после длительного отсутствия, возвратившийся в родные Афины. В них он увидел, что его законы, дарованные землякам, находятся в небрежении. В государстве господствуют три враждебных друг другу объединения, три своеобразных партии.

Самыми непримиримыми и самыми сильными показались мудрецу обитатели наименее плодородной, холмистой части страны, партия так называемых диакриев. Возглавлял ее Писистрат. Эту партию поддерживали бедняки, а также всякого рода нищие люди, всецело настроенные против зажиточных граждан.

Будучи весьма пожилым уже человеком, Солон чувствовал себя неспособным исправить государственное устройство. Хотел лишь заставить людей повиноваться существующему законодательству.

Особенно продолжительными получались беседы у Солона с его родственником и другом молодости – Писистратом. Рассуждения последнего импонировали внимающим слушателям. Принимал их также и Солон. Однако вскоре мудрец пришел к убеждению, что под благодистой личиной у Писистрата скрывается нечто очень опасное: его одолевает жажда личной власти. Солон так и объявлял всем и каждому: если бы не это стремление к власти, Писистрат прослыл бы образцовым гражданином.

Писистрат полагал, что сограждан следует силой заставить исполнять постановления правителя!

Солону и прочим сторонникам равноправия оставалось надеяться, что страсть Писистрата к единоличной власти не принудит его к активным действиям и не приведет к чему-то катастрофическому...

Конечно, мнения мудреца, к тому же поэта, известного своими зажигательными элегиями, – Феспид дождался с большим нетерпением. И каково же было удивление наивного икарийца, когда, вопреки ожиданиям, он услышал попреки!

– Поступаешь подобно Одиссею! Так тот хоть обманывал врагов, а ты... Как не стыдно тебе так бессовестно врать землякам? – выдохнул старец, вздымая при этом дубовую палицу.

Обескураженный, со следами виноградного сока на руках и ногах, актер отвечал смущенно:

– Да ведь для людей... Шутка... Чего-то преступного – нет и в помине...

От досады Солон опустил-таки посох на землю.

– Сейчас вы хвалите его, – выговаривал он уже внимающим разговору согражданам, – однако это выйдет нам боком. Еще вспомните мои опасения...

Как ни уважали афиняне старого мудреца, а все же слова его в этот раз оставляли без малейшего внимания. Старика теперь, дескать, часто заносит... Всех потрясло мастерство приезжего гипокрита. Все хвалили пришельца.

Только один человек в окружении Солона, пожалуй, как следует оценил его сентенции и сделал из них непреложные выводы. Человека этого звали... Писистратом.

Какое-то время спустя, афиняне были потрясены известием, выплеснутым на них. Взобравшись на камень, с которого произносили речи ораторы, Писистрат не сказал еще ни единого слова, а все собравшиеся ужаснулись его окровавленному лицу.

– Вот! – сотрясал он такими же красными пальцами. – Граждане афиняне! Плакали наши вольности, которыми так гордимся! Вот что сделали со мной негодяи в отместку за то, что я всячески отстаивал справедливость! Еле вырвался...

Толпа оцепенела. Писистрата знали как бесстрашного воина, предусмотрительного вождя, не раз водившего войско в походы. И на него напали злодеи? Что говорить в таком случае беззащитному землепашцу, у которого вооружение – разве что дубина из ближайшей оливковой рощи?

Оцепенение нарушил голос Солона. Он пытался высказаться у подножия камня, поскольку Писистрат не намеревался покидать возвышенного места.

– Предупреждал я вас, граждане! – начал снова Солон. – Вот и дождались... Негоже тебе, Писистрат, вступать на дорожку Феспида!

Мало кто слышал мнения старика. Мало кто силился понять его речи.

– Охрану Писистрату! Немедленно охрану! – раздалось в толпе.

И покатился гул:

– Десять дубинщиков!

– Что ему десять!

- Не менее двух десятков!
- Тридцать!
- Сколько сам пожелает!
- Ему видней!
- Сто человек!
- Не меньше!

Писистрат, не скрывая своих увечий и косо поглядывая на пытавшегося взобраться к нему Солон, с трудом уговорил земляков.

– Кто-то назвал число сто! – закричал Писистрат густым голосом. – Но мне совершенно без надобности такое количество. Достаточно и пяти десятков...

Крик облегчения вырвался из сотен, если не тысяч глоток. Писистрат всегда стоял за народ. Никого не даст в обиду. Не даст и себя.

– Писистрат сам нанес себе раны! – пытался вставить Солон. – Такие вот выводы сделал он из Феспидова обмана!

Никто не обращал внимания на речи старого Солон. Даже те, кто всегда вникал в его каждое слово...

Писистрат набрал себе столько дубиноносцев, сколько сам пожелал. Заняв с ними укрепленный Акрополь, объявил себя правителем (новую должность его греки привычно именовали «тираном»).

Раздосадованный Солон, в ответ на это, напялил на плечи воинские доспехи, валявшиеся у него в темноте чулана, вооружился копьем и стал в виде стража у собственных ворот. Друзья и соседи были уверены, что он сам уподобился Феспиду, которого недавно так страстно корил за обман соотечественников.

- На что ты надеешься? – спрашивали мудреца, имея в виду растущую мощь Писистрата.
- На свою старость! – звучало в ответ...

Как бы там ни было, афиняне все-таки устыдились собственной вялости и прогнали Писистрата.

Но это его не смутило. Писистрат не мог отказаться от намерений, внушенных Феспидом. В отдаленном горном селении, куда вынужден был бежать неудавшийся тиран, он прослышал об очень красивой местной женщине чересчур высокого роста. Какое-то время спустя, на пыльной дороге, ведущей к Афинам, появились гонцы. Они горланили всем и каждому, что к городу приближается... богиня Афина!

В такое афинянам всегда хотелось верить. О предыдущих ее посещениях главного аттического города, о ее спорах с морским богом Посейдоном, о даровании ею аттической земле оливкового дерева, – все граждане знали с младенчества. И вот наступает момент, когда они сами увидят всесильную небожительницу... Об этом событии станут рассказывать внукам и правнукам!

И в самом деле. По дороге, вслед за гонцами, катилась роскошная колесница, тащима четверкой великолепных коней. На колеснице стояла очень красивая женщина в сияющем золотом шлеме, с копьем в руках. Сама – в сверкающих металлом доспехах. Она была столь высокая ростом, что правивший упряжкой мужчина рядом с ней казался невзрачным подростком. И все же, все же... Колесница подкатывалась ближе, ближе, и все узнавали на ней... Писистрата! О нем и кричали бегущие вестники.

– Афиняне! – доносились их вопли. – Богиня везет вам достойного правителя! Встречайте его!

- Молитесь!
- Готовьте жертвы!
- Встречайте! Встречайте!

Геродот, отец исторической науки, уроженец малоазийского Галикарнаса, но страстно влюбленный в город светлоокой Афины, – повествуя об этом событии, удивлялся: до какой же степени могли опростоволоситься афиняне!

Писистрат и в этот раз не смог удержаться у власти. И все же, в конце концов, ему удалось добиться желаемого¹³.

Что касается так называемой тирании Писистрата, то она оказалась достаточно мудрой и сдержанной. Новому правителю удалось заручиться даже поддержкой непреклонного прежде Солона, который, правда, вскоре умер (559). Вынудив соотечественников следовать законам, Писистрат способствовал укреплению культа Диониса, весьма популярного в народных массах. В правление этого «тирана» осуществились многие, сказать бы, культурные, программы. При нем были собраны и получили достойную обработку гомеровские поэмы «Илиада» и «Одиссея», по которым в школах учили читать и писать, из которых взрослые эллины черпали знания о богах и героях.

И совсем не случайно, заметим, на статуе его впоследствии помещена была эпитафия следующего содержания:

Трижды меня, тираном бывшего трижды афинским,
Изгнал народ, и вновь трижды на трон свой вернул
Писистрата, в советах великого, кто и Гомера,
Прежде петого врозь, вновь воедино связал¹⁴.

При Писистрате (некоторые современные ученые называют его даже античными Медичи, намекая тем самым на несомненное и широко распространенное меценатство) в Афинах находили приют многие признанные поэты. Театральное дело при нем обрело стройную организацию, подпало под всеобъемлющую государственную опеку. Феспид, как и его друзья по профессии, будучи одновременно драматургами, актерами, постановщиками, начали вступать в соревнования друг с другом.

Ежегодные празднества Диониса, в конце концов, были узаконены государством. На соревнованиях 534 года до н. э. Феспид завоевал себе высшую награду – первое место.

¹³ 561/560 год до н. э.

¹⁴ Перевод С.Шестакова.

Друзья-соперники. Фриних

УФеспида, понятно, чуть ли не сразу же появилось много соперников и подражателей, которые рано или поздно стали отходить от тематики, связанной исключительно с богом Дионисом. Об этом свидетельствует бытовавшая тогда поговорка: «Причем здесь Дионис?» Материалов для драматических произведений в достаточной мере предоставлялось также мифами о прочих, других богах.

Время между тем летело на крыльях.

Среди известных нам драматургов, современников Феспида, традиция называет Хэрила и Фриниха. Херил прожил баснословно долгую жизнь. Начав свои выступления где-то в двадцатых годах шестого столетия до нашей эры, по заверениям древних, он соревновался даже с великим Эсхилом, который только-только успел родиться ко времени первого выступления Херила, и даже с Софоклом, которому еще предстояло увидеть свет. Ничего удивительного, что Херил успел сочинить огромное множество трагедий: вроде бы целых 160!

К сожалению, сведения о нем дотянулись до нашего времени в чрезвычайно скудном виде. Сочинений Херила не сохранилось вовсе.

Чуть больше известно о Фринихе, ученике и последователе Феспида, первый успех которого зафиксирован в 510 году до н. э.

Можно сказать, выступления Фриниха знаменовали как бы начало новой эпохи в истории Аттики. Престарелый тиран Писистрат скончался где-то в 530 году, и его сыновья, Гиппий и Гиппарх, сравнительно недолго продержались на отцовском троне. Гиппарх погиб от рук заговорщиков Гармония и Аристокитона, которые заслужили себе вечную славу, были увековечены в песнях и памятниках. Гиппия афиняне просто прогнали. Он бежал во владения персидского царя.

Изгнание Гиппия случилось в 510 году до н. э., так что первое появление Фриниха на сцене наверняка произошло на гребне общественного подъема и всеобщих надежд. Надежды вскоре вполне оправдались: во внутренней жизни государства последовали разительные реформы.

Традиция сохранила память о необычной сладости песен, сочиненных Фринихом и распеваемых на его мотивы театральным хором, а также о придуманных им танцевальных вариациях.

Греков, между тем, ожидали не только внутригосударственные перемены. Величайшая опасность грозила им с востока – в виде экспансии Персидского государства. Покорив соседствующие народы, персидские цари все ближе и ближе подбирались к берегам Средиземного моря. Попавшие в зависимость малоазийские эллины подняли восстание, которое было жестоко подавлено. Особенно пострадал богатейший город Милет. Уцелевшие жители его были проданы в рабство (494).

Весть о гибели соплеменников потрясла всех греков. По свежим следам несчастья, в том же 494 году до н. э., во время празднования Дионисий, Фриних поставил в Афинах трагедию под названием «Падение Милета».

Теперь уже невозможно ответить, каково же было содержание поставленной им драмы, что легло в основу ее сюжета. Знаем лишь то, что после этого представления афиняне настолько расстроились представленным зрелищем, что они прогнали автора пьесы. Удалив его из театра, запретили вообще повторять эту драму. Вдобавок, Фриних был оштрафован на огромную сумму в тысячу драхм!¹⁵

¹⁵ При Солоне драхма равнялась медимну зерна, и люди, годовые доходы которых составляли свыше 500 медимнов (драхм), считались богачами. Иным ориентиром здесь, быть может, более понятным нам, является следующее: во времена

Нет ничего удивительного, что драматурга потрясло наказание. Казалось бы, он навсегда отречется сочинений на современную тематику. Более того, его поведение вошло в поговорку. Стоило кому-либо в Афинах проявить испуг, малодушие, как на него тут же указывали пальцами: «Вот! Испугался как Фриних!»

Каким же образом добился поэт-драматург столь разительного эффекта? Какого же уровня должно было достигать его мастерство, чтобы всколыхнуть сознание тысяч людей? А там были не только аристократы, ценители и почитатели лицедейства (они составляли незначительную часть афинской публики), но и всякие каменщики, поденщики, рыбаки, пастухи и прочие простолюдины и чернорабочие. И чем всколыхнуть? Игрою, голосом, раскрашенными масками? Или же песнями? А то и плясками хора?

Вопросы, вопросы, вопросы...

Остается лишь взвесить, что нам известно о древнем Милете.

Этот город, заложенный на одном из мысов малоазийского берега Средиземного моря, появился в XI веке до н. э. Предания гласят, будто основал его выходец с острова Крита, по имени Милет, который бежал от власти грозного царя Миноса, сына Европы и Зевса. К VI веку до н. э. Милет превратился в весьма притягательный торговый, промышленный и культурный центр. Он стал родиной знаменитых философов Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, логографа (землеописателя) Гекатея и прочих, прочих. Город продолжал развиваться, высылать все новые и новые колонии по берегам Средиземного моря, число которых и насчитывало уже несколько десятков. Одним из основанных им поселений, кстати, была уже более или менее известная нам древняя Ольвия на берегах Днепровско-Бугского лимана.

И вот этот город, расположенный на противоположном берегу Эгейского моря, город, путь к которому был ведом каждому взрослому афинянину, организатор и вдохновитель составивших эллинов, – оказался разрушенным до основания.

Остается только предположить, что Фриних наказал себя сам: он слишком перестарался, изображая страдания поверженных милетян. В результате, в головах его земляков, сложилось обидное впечатление, будто драматург преувеличил персидскую мощь, идеализировал силу персов. А тем самым недооценил, унизил, пресловутую греческую доблесть. Этого-то афиняне и не могли ему простить.

Как бы там ни было, а все ж остается предположить, что жесткая, даже жестокая реакция афинской публики отбила охоту у большинства драматургов задевать современные темы.

Сочинители первых драматических произведений были замечательными людьми, достойными памяти благодарного человечества. И все ж они только-только наметили очертания сценического искусства. В своих представлениях эти люди были актерами, каждый чувствовал себя гвоздем программы. Но главным действующим лицом в постановках оставался все-таки хор.

Об этом говорит сама структура спектакля. Он состоял из пролога, в котором авторы раскрывали замысел, настраивая публику на определенный лад, задавая тон всему представлению. Далее следовал парод – то есть появление и проход хора по утоптанной орхестре. Затем шли эпизодии, диалоги, собственно – основная часть представления, столкновение сторон, прерываемое стасимами – вставными песнями и танцами хора. Момент удаления хористов с орхестры означал завершение всего спектакля. Последняя часть сценического действия носила название эксод, то есть – исход актеров со сцены.

Настоящего театрального действия первым драматургам добиться не удавалось. Восхищенные зрители, по сути, видели и слышали выступления отдельных поэтов, которые, в сопровождении хора, декламировали свои стихи. На подмостках не улавливалось интриги, которой

того же Солона бык в Афинах стоил пять драхм; чтобы уплатить подобную «кучу» денег, драматургу понадобилось бы стадо из двух сотен быков.

питается воображение зрителя. Не ощущалось даже подобия действия и тем самым подобия действительности.

Эсхил, или театр двух актеров

*То, что Феспид изобрел – и сельские игры, и хоры, —
Все это сделал полней и совершенней Эсхил.
Не были тонкой ручной работой стихи его песен,
Но, как лесные ручьи, бурно стремились они.
Вид изменил он и сцены самой. О, поистине был ты
Кем-то из полубогов, все превозмогший певец!*
Диоскорид. Эсхилу¹⁶

*После него Эсхил епанчу и приличные маски
Выдумал – и сцену устроив на средственных брусках,
Первый ввел и речей возвышенный строй и котурны.*
Квинт Гораций Флакк¹⁷

Творцом настоящей драматургии по праву считают (и считали в древности) поэта Эсхила.

Эсхил родился вскоре после кончины тирана Писистрата. Родиной его стал небольшой аттический городок Элевсин, центр упомянутой мною долины, одно время соперничавший с соседствующими Афинами. По преданиям, в этот благодатный край неоднократно навещалась сама Деметра, богиня плодородия. Она и обучила местных жителей выращивать пшеницу, выпекать из нее хлеб. Элевсин стал местом ежегодных празднеств, связанных с таинственными обрядами, в которых отражался процесс умирания и воскрешения окружающей природы.

Не менее часто, были уверены элевсинцы, гостил у них также бог Дионис, уроженец соседней Беотии. И все ж элевсинские земли славились не только буйной пшеницей, но и тугими виноградными гроздьями. Кудрявые заросли лоз покрывали склоны холмов и прогретых солнцем горбатых пригорков.

Эсхил, сын Евфориона, происходил из древнего аристократического рода, владевшего большими земельными наделами, в том числе – виноградниками. Естественно, сын богача получил прекрасное воспитание и образование, которое, правда, в первую очередь заключалось в умении читать и писать, петь, играть на различных музыкальных инструментах, а также в способности держаться на воде. О неуче и тупом человеке, как правило, эллины говорили, что он не умеет «ни читать, ни плавать». Образованный юноша должен был по памяти декламировать гомеровские произведения, быть ознакомленным с творчеством современных ему поэтов.

Нелишне будет заметить, что Афины к указанному времени сделались одной из поэтических столиц Эллады: продолжая старания покойного родителя, тиран Гиппарх привлекал стихотворцев со всех ее уголков.

Наставники не преминули поведать Эсхилу о философских доктринах и прочих научных тонкостях, которые неустанно витали в эллинском мире. Конечно, он великолепно разбирался в преданиях и мифах, которыми всегда была наполнена голова любого античного грека.

Положению Евфориона в обществе соответствовало также телесное развитие его сыновей, предполагавшее физическое совершенство, владение оружием, будь то копье, отточенный меч, широкий щит или тетива тугого лука. Как и все его братья (а их у него было несколько), Эсхил рос готовым в любое мгновение выступить на защиту отечества, благо потребности в том возникали почти постоянно.

¹⁶ Перевод с древнегреческого Л. Блуменау.

¹⁷ Перевод с латинского А. А. Фета.

Очевидно, юный Эсхил очень рано стал проявлять способности к стихотворчеству, что отмечали все составители его биографий. Правда, о нем писали все авторы уже как о большой знаменитости, а потому старались выразить нечто чрезвычайное, лишний раз подтверждая его гениальность и нисколько не умаляя сложившегося имиджа замечательного драматурга.

Составители таких биографий захлеб утверждали, будто Эсхил еще в детстве отмечен был богом Дионисом. Навешая «виноградный» город, бог Дионис однажды слышал звонкий мальчишеский голос, скандировавший гомеровские строки. Веселый, чуть пьяный, небожитель, представ перед юным декламатором, предрек ему славное будущее на драматургической ниве. Но после того, как шумная свита поддержала бога своими хмельными выкриками, все поющее и пляшущее их сообщество тут же пропало, почти не замеченное никем из соседей.

Естественно, писали биографы, Эсхил навсегда запомнил тот знаменательный день, стараясь оправдать возложенные на него надежды. С юных лет волновали его встречи с мастерами слова, будь то сказители, часто слепые, в лохмотьях, бродившие от селения к селению в сопровождении поводырей и горланившие свои и чужие рифмы, будь то знаменитые их собратья, признанные поэты, выступавшие в домах и дворах богатых ценителей.

Гораздо сильнее увлекали Эсхила театральные представления. Наверное, с юности посещал он шумные зрелища в период Великих Дионисий, благо земли отца отделялись от Афин расстоянием в каких-нибудь двадцать нынешних километров. Для тренированного атлета такие дистанции не составляли никаких затруднений.

Искусство драмы¹⁸, пусть и в зачаточном своем состоянии, показалось отроку чем-то особенным, необычным, почти неземным. Оно дурманило не только волшебными строчками, но и бурным дыханием народной массы, реагировавшей на каждое слово. Уносило юношу в неведомые края своими чудесными мелодиями, переливами красочных одеяний поющего хора, неудержимыми плясками, при одном виде которых трудно было усидеть на месте.

На театральной площадке, уже вымощенной камнями орхестре, имелось все то, что привлекало внимание любого эллина, а тем более – вдохновленного богом поэта.

Эсхилу исполнилось пятнадцать лет, когда Аттика освободилась от тиранической власти, такой благодатной для основной массы афинян в начале правления самого Писистрата, но ставшей невыносимой при его сыновьях, особенно – при единоличном правлении Гиппия. Загнанный в угол, сын тирана мстил за гибель брата.

Конечно, молодого поэта захлестывал дух свободы. Он был уже почти в возрасте эфеба¹⁹, когда вождь демократов Клизфен, представитель клана знаменитых Алкмеонидов, начал проводить основательные реформы. Путь реформатора никогда не бывал усыпан розами. А в этот раз Клизфену противостояли аристократы во главе с Исагором, которому удалось привлечь на свою сторону спартанского царя Клеомена. Спартакское войско поспешило на помощь сторонникам тирании, и лишь благодаря усилиям заинтересованного народа Клизфену посчастливилось изгнать захватчиков, а вместе с ними – строптивого Исагора.

В отличие от Солона, желавшего стать примирителем между партиями, Клизфен разрушил господство родовой аристократии и способствовал укреплению афинского государства. Беднейшие его обитатели, лично свободные, ощутив себя гражданами, почувствовали ответственность за судьбы всего государства.

Эта готовность народа к обороне родной земли проявилась уже в локальных, внутренних войнах. Еще бóльшая возможность маячила для них в будущем. Зревшая на востоке опасность возрастала с каждым днем.

Театральные представления в рамках Великих Дионисий обретали в Аттике стабильные правовые рамки. Состязания поэтов, участников празднеств, были окончательно узаконены в

¹⁸ Тоже от древнегреческого глагола *δράω* – действовать.

¹⁹ Юноши от 18 до 20 лет.

508 году до н. э. Это означало, что к конкурсу допускаются все желающие, главным образом – признанные мастера словесного цеха. Пройдя предварительный отбор, поэт-драматург получал право готовить свое детище к представлению за государственный счет, то есть – выступать в нем в качестве гипокрита-актера, да и во всех прочих качествах, на которые был способен.

Выступив впервые в 500 году до н. э., Эсхил, однако, не получил желанного первого места.

Оставалось ждать и работать.

Марафонские страсти

Все это лето показалось афинянам просто ужасным. Каждый день приносил все новые и новые вести о приближении грозной персидской мощи.

Персы успели уже подчинить все земли, расположенные на пространстве от Кавказских гор на севере до Нильских порогов на юге. А также – от пределов Индии на востоке – до берегов Дуная на западе.

Персидский царь Дарий велел своим полководцам как можно скорее покорить остальных, островных и материковых греков. Правда, первая попытка в 492 году до н. э. завершилась явной неудачей персидских завоевательных планов: буря разметала флот захватчиков, и полководец Мардоний, царский зять, поставленный во главе нашествия, утратил доверие тестя.

К новому походу персы готовились под водительством полководцев Артаферна и Датиса, первый из которых опять же был царским родственником, любимым племянником. Военная акция началась весной 490 года. Направляясь к Балканам, персидский флот покорял большие и малые острова, разбросанные по глади Эгейского моря. Впрочем, то была не очень уж «пыльная» работа. Никто не отваживался противостоять лиху, которое подминает под себя все живое.

Безнадежность сопротивления понимали не только островитяне, но и прочие греческие государства, которых тогда насчитывалось несколько сотен. Одни среди них обреченно ждали прихода врагов, другие – заранее демонстрировали готовность подчиниться ужасной судьбе.

Конечно, ни для кого не оставалось секретом, что первыми пострадают жители города Эретрия на ближайшем от Аттики острове Эвбея – за их сочувствие мятежному Милету. Далее – наступит очередь Афин.

Положение афинян осложнялось еще и тем, что Артаферн и Датис везли с собой престарелого экс-тирана Гиппия, два десятка лет тому назад изгнанного по инициативе Алкмеонидов. Гиппий мечтал о возвращении власти и, несмотря на пролетевшие годы, в Афинах оставалось немало его тайных пособников. Вдобавок к этому, Гиппий хорошо еще помнил слабые стороны афинского войска. Какая-то часть афинян желала примкнуть к сторонникам тирана просто из вражды к Алкмеонидам, а еще – из-за страха перед персами.

Все указанное осложняло задачи тех обывателей, которые являлись врагами нашествия. Конечно, большинство афинян проявляло настоящий патриотический настрой. Они и задавали в государстве тон, определяли его политику, тогда как противники их действовали скрытно, с опаской, под страхом строжайшего наказания. И все ж патриотам приходилось надеяться только на ресурсы собственного государства.

Когда до города долетела весть, что суда захватчиков приблизились вплотную к Марафонской равнине, – на помощь афинскому войску поспешил лишь скромный отряд платейцев, небольшого городка на беотийской земле. Состоял он из нескольких сотен бойцов.

Правда, афиняне до последнего момента надеялись на поддержку воинственной Спарты. Отправляя войско навстречу персам, они послали в Пелопоннес бегуна Фидиппида, который без остановки пробежал расстояние, равное нынешним 200 километрам, и на следующий день предстал перед спартанскими старейшинами.

– Афины в опасности! – выдохнул Фидиппид. – Не дайте погибнуть эллинскому городу!

Спартанцы, будучи воистину храбрыми воинами, что не раз доказывалось ими на деле, – со всей очевидностью полагали: они не в состоянии помочь афинянам. В Спарте выдвигались планы укрепления Истмийского перешейка, который отделяет центральную Грецию от южного побережья. Спартанцы надеялись не пропустить захватчиков дальше, в Пелопоннес. Им почему-то не приходило в голову, что таким маневром персов не остановишь. Захватчики обладают мощным флотом и могут высадиться в любом приглянувшемся месте.

Посоветовавшись, спартанцы ответили:

– Сейчас у нас праздники бога Аполлона. Помощь пришем после наступления полнолуния.

Не теряя времени, Фидиппид пустился в обратный путь, напрямую уже к Марафону.

Афинское войско, ударную силу которого составляли гоплиты, топталось на каменистой возвышенности, отгородившись от персов глубокими рвами.

Тридцатипятилетний Эсхил, не раз уже добивавшийся права представлять свои драмы на праздниках Дионисий, – не ощущал ни тяжести снаряжения, состоявшего из медного шлема, панциря, поножей, ни тяжести оружия, как то меча, копья и щита. Он находился в расцвете телесных сил и чувствовал себя достаточно тренированным, решительным и отчаянным. Правда, все снаряжение и оружие его покоилось на пожухлой от солнца траве. На плечах у каждого воина оставался только прогретый солнцем панцирь, в который невозможно было втиснуться без помощи оруженосцев, главным образом – скифских рабов, вооруженных луками и отосланных сейчас за внешние пределы рва. У гоплитов, таким образом, сохранялась возможность избежать внезапного нападения очень опасной неприятельской конницы.

Поэт стоял в окружении братьев, родственников, знакомых элевсинцев и афинян. Все вокруг не отрывало взглядов от того, что творилось внизу, за извилистой линией рва.

А там, на ослепительной глади, до самого горизонта кишели неприятельские суда. Блеск прибрежных песков пересекали вереницы людей в длиннополых одеждах и их гривастых коней. Враги сновали от чернобоких судов к победно плавающим кострам. Пространство переполняли человеческие голоса, повсеместное ржанье коней, пронзительные крики ослов и верблюдов и всепобеждающий звон оружия.

Персы группировались в ряды, пешие и конные порознь. Врагов насчитывалось так много, что у эллинских стратегов, полагал Эсхил, замирают в тревоге сердца. Стратеги, конечно, не сомневались, что никто из гоплитов, пока они держат оружие и стоят на ногах, не уступит противнику ни пяди земли. Но кому суждено здесь остаться в живых, если на каждого эллина приходится по десятку персов? Подобные мысли тяготили всех воинов, даже наиболее опытных гоплитов.

– Персы не знали поражений ни в Азии, ни в Ливии (Африке), ни в Европе! – раздавалось за спиной у Эсхила.

Разговоры тут же обрывались из-за вмешательства ветеранов, знающих, насколько опасны оценки противника ввиду неизбежного сражения.

– Выдержим! – хрипели они.

Однако тревожные настроения прорывались снова и снова:

– Как устоять против конницы?

– Да! Конница...

И снова:

– Выстоим, сказано!

Каждого волновала мысль: что произойдет с Афинами, с мудрыми старцами, составляющими высший государственный совет – Ареопаг? Что случится с остальными обитателями славного города – стариками, женщинами, с детьми?

Стратеги, сбиваясь в кучку на самом высоком месте, неотрывно глядели на вражескую конницу, гарцевавшую на кромке морского берега. Они вспоминали известные им сражения, исход которых решался ударами быстрых всадников. Впрочем, был уверен Эсхил, военачальники понимают, что власть здесь находится в руках одного человека, формально равного прочим стратегам, но фактически – военного вождя.

Вождь носил имя Мильтиад. Он родился и вырос в Афинах, происходил из рода Филаидов, соперничавшего с Алкмеонидами. Но главную часть своей жизни провел в Херсонесе Фракийском, будучи наследственным правителем тамошних земель. Он в значительной сте-

пени зависел от воли персидского царя. Изучив персидскую мощь, Мильтиад все ж остался закоренелым эллином. Возвратясь в Афины, он отверг обвинения Алкмеонидов и добился даже своего избрания одним из десяти стратегов. То, что афинянам удалось сколотить боеспособное войско и вывести его навстречу персам – это результат настойчивости Мильтиада.

Внимание всех эллинов было обращено на него, а сам он казался по-прежнему спокойным и уверенным в себе, хотя понимал, какую силу представляет персидское войско, как неустойчивы царские конники. Доверие соотечественников Мильтиаду предстояло оправдать в кровавом сражении. Он выслушивал и отсылал каких-то ловких молодых людей, которые появлялись перед его шатром и так же внезапно вдруг пропадали. Вождь чего-то вроде бы дожидался.

В предчувствии грозного сражения, Эсхил, хоть и крепко верил во всемогущество Зевса, стал все чаще и чаще подумывать о Мойрах. Все больше и больше верил в Лахесис, назначавшей человеку особый жребий, в Клото, прядущую нить его жизни, и в Атропос – «неотвратимую»... Ей одной позволительно было решать, когда человеку суждено распрощаться с жизнью. Что же, чему назначено быть – того не объедешь на самом быстром животном...

И вдруг, поближе к обеденной поре, далеко в горах, в стороне оставленных накануне Афин, сверкнуло яркое пятнышко. Оно погасло, но тут же вспыхнуло снова, опять погасло. И вот засияло с невероятной силой. Его отчетливо видел Эсхил. Видели не только все эллины, но и противостоявшие им персы.

– Это знак! – раздалось за спиной.

– Да! – закричали гоплиты. – Там поднимают и опускают медный щит!

– Измена!

– Кто-то...

– Да! Кто-то призывает персов в Афины! Наш город сейчас почти беззащитен!

Эллины кричали, глядя на Мильтиада. Ждали его реакции. Однако он, ко всеобщему изумлению, оставался спокойным, как олимпийские боги.

Впрочем, в его движениях проявлялась какая-то сказочная уверенность. Некоторых это насторожило, даже старшего Эсхилова брата, неистового Кинегира. Однако такая уверенность предводителя взбодрила все эллинское войско.

А в рядах неприятеля начало твориться нечто невероятное: персидские конники, сверкая доспехами и конской сбруей, в клубах пыли начали оставлять уже занятые позиции. Персы возвращали конницу на доставившие ее суда!

– Куда торопятся? – гудел над ухом брат Кинегир, не доверяя своим глазам. – Неужели в Афины? Почему же медлит наш предводитель?

Выслушав донесения новых гонцов, Мильтиад подозвал трубача. Прозвучавший сигнал означал приказ выбираться за линию рвов. Полководец торопился, словно бы опасаясь, что персы начнут возвращать своих конников на прежнее место, хотя с высоты отчетливо было видно: отягощенные грузом суда исчезают в открытом море.

Воспользовавшись отсутствием царской конницы, Мильтиад развернул гоплитов на Марафонской равнине. Это удалось проделать настолько быстро, почти мгновенно, под прикрытием легковооруженных воинов и рабов, что персы, изготовившись к бою, едва успели противопоставить своих бесчисленных лучников, действовавших впереди основного войска, закованного в металл, ошетиленного копьями и украшенного блеском отточенных мечей. Обычно лучники осыпали противника стрелами, нанося ему ощутимый урон и расстраивая его ряды.

В этот же день персидским стрелкам из лука только единожды удалось натянуть и отпустить свои тетивы. Они сами почувствовали себя ненужными и вынуждены были спасаться бегством, чтобы не быть раздавленными двумя враждующими войсками.

Эсхила, оказавшегося в первых рядах бегущих гоплитов, оглушило громом криков, стонов, стуком мечей, звоном доспехов. Все слилось и перемешалось в непрерывном гудении.

– Э-э-э-эй!

– А-а-а-а-а!

Превосходство захватчиков в живой силе было столь многократным, что им удалось провать строй афинян и продвинуться далеко вперед. Уже после сражения многим гоплитам, в том числе и Эсхилу, показалось, будто в самом построении эллинского войска скрывался один из замыслов хитроумного Мильтиада: более мощные силы сосредоточены были у него на флангах. Впрочем, над этим никто не задумывался даже впоследствии, разбирая ход сражения. Сам Мильтиад не находил нужным раскрывать свою тактику. Возможно, он еще раз надеялся воспользоваться приемом, неразгаданным противниками.

Как бы там ни было, успехи персов в центре сражения не смутили греков, дравшихся на флангах, а лишь подстегнули их к еще более стремительному продвижению вперед. Крылья греческой фаланги явно устояли, и эти-то крылья сомкнулись и ударили в спину прорвавшимся чужакам...

Успехи греков оказались настолько значительными, что сразу вызвали тревогу персидских военачальников. Впрочем, даже не в этом дело. Стоило кому-то из персов в центре сражения закричать «Нас обходят!» – как тут же взорвались тысячи голосов:

– Нас обходят! Боги-и-и!

– Спасайся!

– Спасайся!

Заминка и сумятица мигом переросли в панический страх. Ни Датис, ни Артаферн не могли уже что-то переиначить²⁰.

Перелом в сражении наступил в один миг. Спасаясь, тесня друг друга, персы освобождались от щитов и доспехов. Лишь бы добраться до судна, укрыться за его бортами, отчалить в море.

Конечно, бегущие становились легкой добычей для тренированных гоплитов. Настигая врагов, гоплиты устилали равнину трупами. Победители хватались за борта руками, стремились удержать судно, взобраться наверх, учинить там бойню, пленить корабль. Персы в ужасе отбивались мечами, копьями, руками, ногами, как могли.

В пылу сражения, уже чувствуя дыхание моря и невольно жмурясь от водного блеска, Эсхил увидел брата Кинегира. Бросился ему на помощь, круша мечом преграждавших дорогу персов, и не смог уберечься от удара сзади. Показалось, что он провалился в темный колодец...

Сражение завершилось только к вечеру. Потери персов достигали шести тысяч павших пехотинцев, тогда как афиняне недосчитались всего лишь 192 воинов. В руках у них оказалось семь неприятельских судов.

Окрыленный победой, Мильтиад отправил в Афины гонца Фидиппида – с вестью для всех обывателей, истомившихся неизвестностью.

Этот пробег стал для юноши последним. Преодолев расстояние, равное 42 километрам 195 метрам (нынешняя марафонская дистанция), выплеснув весть своим соотечественникам, Фидиппид замертво рухнул на землю...

Очнувшись, Эсхил мигом сообразил, что находится в лагере, стало быть, победителей. Вокруг него, чувствовалось, находится мало живых людей, зато – горы вражеских трупов. Мертвых своих соотечественников греки складывали вокруг пылавших костров. Туда же сносили всех раненых.

Над ним свисало прозрачное небо, усыпанное тысячами мигающих звезд. Попробовал шевельнуться, но это удалось с трудом. И все же он понял, что остался с руками-ногами, что

²⁰ Впоследствии афиняне утверждали, будто весь этот ужас на персов наслал козлоногий бог Пан, покровитель лесов и пастбищ, а равно и беззаботных нечесаных пастухов, постоянно играющих на своих свирелях. Бог якобы попался навстречу гонцу Фидиппиду, когда тот спешил к спартанцам или уже возвращался назад. Пан велел ему известить соотечественников, что они обязательно ощутят его поддержку.

боль во всем теле и шум в голове – совсем не смертельны. Удар персидского меча не смог раздробить его мощного шлема, доставшегося еще от деда Агакла.

Эсхил попытался освободиться от шлема, но руки не подчинялись. Повернул слегка голову, и, быть может, скосил глаза, поскольку обнаружил шлем, лежавший на уровне уха. Голову сдавливала непомерная тяжесть.

Движения не остались напрасными. Фрасибул, очевидно, отлучившийся лишь на мгновение, тут же высунулся из-за куста. По-своему истолковав усилия господина, невольник поднес черепок с водою.

– Пей, хозяин!

В голове Эсхила вздымалось и пропадало все случившееся с ним в сражении. Снова увидел напряженные лица врагов, прикрытых медными шлемами. А еще – замелькали фигуры его соотечественников, по-разному понимающих все происшедшее, спорящих и галдящих...

Все это, сказано, возникало и пропадало, чтобы тут же возродиться с новой силой. Эсхилу казалось, будто его несет и вращает могучий горный поток. В промежутках между провалами памяти улавливал голоса, доносящиеся от костров.

– То был Тесей! – кричали наиболее ретивые. – Это он!

– Да! Тесей! Конечно!

Из обрывочных разговоров становилось понятно, что победа над персами не могла получиться без помощи богов. Да, все эллины различали высокую мощную фигуру в золотых доспехах и с длинным копьем в могучих руках. Неизвестный герой увлекал за собой победителей.

– Тесей! Без сомнения! – доносилось снова и снова. – Конечно! На этих полях он встретился с Пирифоем!

– Здесь герои впервые увидели друг друга.

– И сразу же подружились.

– Тесей!

– Тесей!

Эсхил все сильнее погружался в липкое забытие. Когда к нему возвращалось сознание, он снова улавливал разговоры о неведомом боге.

– Конечно! Козлоногий не позабыл своих обещаний!

– Наслал на врагов панический ужас!

Разговоры не утихали. Они переходили на остальных небожителей, в первую очередь – на Афину и Диониса...

Мильтиад, между тем, был уже далеко от поля сражения. После победы, собрав смертельно уставших воинов, он заявил, сотрясая словами густой предзакатный воздух, переполненный запахом свежей крови:

– Граждане-афиняне, поспешим к родному городу... К нему теперь приближаются наши враги!

Мильтиад был уже далеко не молод. К тому же он только что отличился в первых рядах, подавая пример гоплитам. И все же он прежде всех молодых оказался на дороге, ведущей к Афинам.

Предпринятый им маневр удался полностью. Персидский флот, обогнувший Аттику и остановившийся у берегов Пирея, афинского порта, увидел готовое к сражению войско, которое победило на Марафонской равнине. Помедлив какое-то время, посоветовавшись, Датис и Артаферн приказали поднимать якоря.

Персы уплыли к своим берегам, смирившись с неприятнейшим для них поражением.

Марафонская победа вознесла Мильтиада на такую высоту, что опасаться его начали даже Алкмеониды. Знак, подаваемый перед сражением, видели чуть ли не все победители. Вопрос о предательских знаках-сигналах встал сразу же после ликвидации страшной угрозы. Кто подавал сигнал? Кому в Афинах хотелось подчинить себя воле тирана Гиппия?

Сам тиран Гиппий был уже безнадежно дряхл. Указав персам место для высадки, с трудом выбравшись на берег, он споткнулся о невидимое препятствие, упал. Из рта у него вывалился чуть ли не последний, единственный зуб. Старик начал копать в поисках потери, просеивал песок сквозь пальцы, – да все без толку. Тогда он понял, что надежды на обретение утраченной власти – также неисполнимы и тщетны.

Подозрения о сговоре с Гиппием, а отсюда – с захватчиками, так или иначе касались Алкмеонидов, вопреки здравому смыслу и логике: зачем им тиран, которого они всеми силами старались прогнать? Отец истории, Геродот, описывая этот период в жизни Греции, категорически отрицает предательство Алкмеонидов. А Геродоту, хоть и родившемуся после Марафонского сражения (484), наверняка удалось побеседовать с очевидцами этих событий.

И все же для Алкмеонидов настали трудные времена. Им пришлось защищаться. Подозревать в предательстве кого-либо иного, не их, – было еще абсурднее.

Но Алкмеонидам везло.

Мильтиад и дальше подбивал афинян развивать наступление на персидском фронте. Откровенно говоря, он начал неблагородное дело: под видом наказания за подчинение персам Мильтиад принялся грабить островитян, пополняя тем самым государственную казну. И вскоре наткнулся на сопротивление жителей Пароса.

При каких-то загадочных обстоятельствах Мильтиад был ранен на острове в ногу. Рана не заживала, а главная паросская твердыня, хоть и зажата в тиски блокады, не думала сдаваться. И в этот момент вдаль закурился столб черного дыма. Конечно, всполошились афиняне, на помощь осажденным спешит грозный персидский флот, в котором не менее тысячи кораблей, тогда как у Мильтиада их всего восемь десятков.

Мильтиаду пришлось срочно снимать осаду и отплывать в Афины. Там, пожалуй, поверили бы версии о присутствии персидского флота, однако морякам удалось пронюхать, что причиной дыма явился пожар на одном из островов, соседствующих с Паросом.

И сразу же возник вопрос: кто, в таком случае, распускал слухи о подходе персов? Не делалось ли все это по приказу зашедшего в тупик Мильтиада? Кто возместит народные деньги?

Одним словом, Мильтиаду предстояло защищаться в суде.

Обо всем этом Эсхил узнавал уже в своем элевсинском имении. Излечиваясь от ран, он работал над новыми драмами. Почитал своим долгом рассказать о мужестве соотечественников и военном гении Мильтиада.

Эсхилу наверняка казалось, что на Марафонском поле Мильтиад проявил величайшую военную хитрость, мудрость, перед которою меркнет его же удачное построение афинской фаланги, как бы заманившей персов в ловушку. Однако победа не могла быть достигнута одним напряжением сил афинских гоплитов. Как бы там ни было, а существует предел, граница, когда количество персидских воинов превосходит качество эллинской выучки. Без гениальной хитрости, проявленной Мильтиадом, был убежден Эсхил, эта победа выглядит все же невозможной. Признание гениальной хитрости вождя несколько не умаляет доблести всех победителей.

Эсхилу чудилось, что загадочный щит на склонах аттических гор появился по указанию самого Мильтиада, обладавшего решительным, к тому же – явно авантюрным характером. Мильтиад прекрасно знал и правильно оценивал возможности персидских войск и возможности своих земляков. Он понял, какая опасность нависала над всем его родом, над афинским полисом. Чтобы избежать поражения, чтобы лишить персидских военачальников главного козыря в предстоящем сражении – неодолимой конницы – Мильтиад без сомнения мог решиться на тайные переговоры с врагами, в действительности – лишь отвлекающими их внимание. Он обманул их всех. Обманул Гиппия. В конце концов, обманывал и афинское государ-

ство. Поступил подобно Одиссею, водившему за нос врагов. В этом его не упрекнул бы даже мудрый Солон! Все делалось во имя и на благо Афин. А победителей не должно судить.

Эсхилу казалось, будто нечто похожее, хоть и не совсем благородное, Мильтиад попытался осуществить и на Паросе. Но – просчитался.

Судебное заседание, на которое Эсхил пришел своими ногами, полностью выздоровев, выглядело необычно. Народ собирался в театре Диониса. На оркестре, видевшей немало уже замечательных постановок, судили героя великого сражения, победителя, обессмертившего свое имя и прославившего свое государство. Подобного рода дела надлежало разбирать в присутствии всего афинского народа.

Так и получилось. Разбирательство выглядело захватывающим представлением. Обвинителями выступали Алкмеониды. Речь от их имени держал Ксантипп, отец знаменитого впоследствии Перикла. За обман народа Мильтиаду грозила смертная казнь. На это намекал Ксантипп.

Автора Марафонской победы доставили на деревянных носилках. Он лежал на виду у всех, на фоне Акрополя, возведенных на нем святилищ, облагороженных могил почитаемых предков. Он выглядел грузным, по-стариковски беспомощным, с черной кожей лица и со всклокоченными седыми волосами. В его прищуренных глазах Эсхил уследил приметные слезы. Их полководец не мог стряхнуть.

Марафонские бойцы, в толпе которых стоял Эсхил, совсем недавно взиравшие на блеск Мильтиадова шлема, внимавшие его громоподобному голосу, – отводили взгляды.

Защита произносила речи, напирая на то, что перед судьями лежит далеко не обычный защитник родины, и вопрос о наказании смертной казнью как-то сам по себе отодвинулся на задний план. Мильтиада наказали штрафом в пятьдесят талантов.

Не оправившись от раны, автор Марафонской победы скончался вскоре после суда. Штраф был «повешен» на его молодого, если не сказать – юного, сына Кимона.

Тайну Марафонской победы, загадку сверкавшего в горах щита, приведшего к удалению опасной персидской конницы, равно и загадку паросской экспедиции афинского флота, – все это Мильтиад унес с собою в могилу...

Уже на этом этапе судебного разбирательства Эсхил с горечью констатировал, что задуманная им драма о Марафонском сражении, главным героем которой должен был выступить Мильтиад, – ни в коем случае не будет поставлена в афинском театре. На долгие годы это имя станет просто запретным...

Первой победы в состязаниях драматургов Эсхил добился лишь в 484 году до н. э., перешагнув уже свой сорокалетний рубеж.

Конечно, при желании совершенно нетрудно заподозрить древних эллинов в каком-то манипулировании фактами из биографии поэта. Древние всегда были твердо уверены, что к собственному сорокалетию каждый человек, гражданин своего отечества, совершает главное дело всей своей жизни, ради которого и явился на свет.

Что же, к указанному периоду Эсхил действительно сумел подняться на первое место среди драматургов и не уступал его никому, вплоть до появления основного соперника в лице Софокла, которому к 484 году исполнялось всего двенадцать лет.

Анализ событий указанного периода со всей наглядностью подтверждает, что настрой афинского общества способствовал наибольшему проявлению творческих сил и талантов любого человека. Но чтобы добиться такого первоначального успеха на драматургической ниве, чтобы заслужить звание «отца трагедии», – надо было представить нечто исключительное, что покорило бы зрителей и судей своим созвучием с пафосом освободительной войны, чтобы это произведение просто-напросто потрясло современников.

Конечно, из памяти Эсхила никак не могло выветриться негативное отношение афинского народа к драме Фриниха о взятии Милета. Он вряд ли осмелился бы напрямую обра-

тяться к современной теме, не говоря уже о Марафонском сражении и геройстве Мильтиада, не будучи на первом месте среди остальных драматургов, а лишь добиваясь этого первенства. С другой стороны, ему, прямому участнику знаменитого сражения, несмотря ни на что, не давали покоя мысли и чувства, связанные с таким грандиозным событием. В ушах его так и стояло все, что было услышано на поле брани. Он опять и опять переживал незабываемый всеобщий восторг.

Вполне возможно, что Эсхила выручило обращение к мифам о Тесее, любимом герое афинского народа, его древнем царе, о котором в городе говорили все от мала до старого. Марафон же был связан с одним из первоначальных подвигов Тесея, совершенных им на аттической земле, впоследствии ставшей ему родною.

Дело в том, что когда Тесей достиг совершеннолетия и прибыл в Афины к своему отцу Эгею, совершив по пути массу исключительных подвигов, то Эгей поначалу не признал его, а злая его супруга, колхидская царица Медея, подговорила старого мужа вообще отрядить пришельца на видимую смерть. Юноше предстояло поймать Марафонского быка, опустошавшего пастбища и уничтожавшего человеческие жилища, заодно – и самих людей.

Этого быка, обретавшегося на острове Крите, некогда перевез на материковую землю герой Геракл, исполняя веление микенского царя Еврисфея. Но Еврисфей испугался чудовища и прогнал его на все четыре стороны.

Эгей и Медея были уверены, что Тесей погибнет, однако здорово просчитались. Тесей одолел чудовище. Он притащил быка в Афины и провел его, упиравшегося, по всем городским улицам, чтобы принести в жертву богу Аполлону. Мясом зажаренного животного угощались все афиняне.

Второе событие, связанное с Тесеем и с Марафоном, заключалось в следующем: как только о подвигах афинского царевича, собственно – уже царя, прослышал его сосед Пирифой, – последнему захотелось не то познакомиться с ним, не то помериться силами.

Пирифой управлял лапифами, древним мифическим народом, обитавшим в лесах Фессалии, к северу от Аттики, близ гор под названиями Осса и Пелион. Облачившись в доспехи, Пирифой вооружился и, в сопровождении слуг, захватил одно из стад, бродивших по Марафонской равнине, как раз в тех местах, где впоследствии разыгралось сражение с персами. Хозяином стад, был осведомлен Пирифой, являлся аттический царь Тесей.

Сопровождая животных, Пирифой с трудом удерживал своих могучих коней, запряженных в быструю колесницу. Он, однако, нисколько не торопился.

Как только Тесею стало известно о дерзком поступке какого-то наглеца, он также велел подавать доспехи. Кони не подвели, и царь настиг злоумышленника неподалеку от собственных владений.

Герои предстали друг перед другом. Произошло нечто невероятное: они замерли на местах, позабыв о вскинутых острых копьях. Сквозь узкие прорези в шлемах каждый узрел перед собою героя, и каждому показалось, будто он воочию видит самого себя. Отбросив оружие, оба героя освободились от шлемов и протянули друг другу руки.

– Мир!

– Мир!

От этого дня началась их дружба, не прекращавшаяся до последнего вздоха. Немало подвигов совершили оба народных защитника, действуя сообща. Но самым выдающимся их деянием стала совместная борьба против дерзких кентавров...

Подвиги Тесея, вне всякого сомнения, во все времена возбуждали воспоминания, связанные с победой над персами.

Как бы там ни было, можно смело предполагать, что именно в этом драматургическом состязании, доставившем ему заветное первое место, Эсхил впервые вывел двух действующих героев – будь то Тесея и Эгея, будь то Тесея и Пирифоя, – не столь уж и важно. Важно, что он

осуществил в постановке все то, что мешало ему и его собратьям по перу, что тормозило дальнейшее развитие драмы. Выступление на сцене двух действующих лиц, их диалоги, общение, – все это означало наличие действия, интриги. Означало появление настоящей драматургии...

Да, 484 год до н. э. вполне мог стать рубежом, за которым последовал новый этап в творчестве Эсхила, предоставивший поэту возможность заслужить впоследствии титул отца трагедии.

Саламинское сражение

*... Но что прекрасно за сценой —
Там и оставь; скрыть должен от глаз ты много такого,
Что очевидец событий расскажет с полной силой.*

Квинт Гораций Флакк²¹

Афинские гоплиты были твердо уверены, что выигранное ими Марафонское сражение принесло Элладе окончательную свободу, что персы убрались уже навсегда.

Подобными убеждениями проникались и прочие афиняне.

Выздоровевший, а затем и добившийся первого места в состязаниях драматургов, Эсхил мечтал о новых крупных успехах.

Он работал без устали.

Однако персидские цари не могли так просто смириться со своим поражением. Военные неудачи во все времена означали начало распада монархического режима. Ресурсы персидского царства, к тому же, не шли ни в какое сравнение с возможностями любого греческого государства. Даже их всех, вместе взятых.

Пожалуй, лучше всего понимал это афинянин Фемистокл — один из самых деятельных эллинских политиков. Надежды на окончательное изгнание персов показались ему смешными и даже преступными. Фемистокл, к тому же, не спал ночами, сгорая от зависти к Мильтиаду, добившемуся столь разительной Марафонской победы. Он всячески корил себя за то, что допустил подобное развитие событий.

И вот, вдобавок, этот триумф вероятного соперника. Правда, похожий скорее на мрачную казнь...

В том, что триумфатор Мильтиад не удостоился награды даже в виде оливкового венка, — также скрывалась недобрая воля Фемистокла, человека в такой же степени честолюбивого и завистливого, как и высокоодаренного. С раннего детства мечтал он о собственной славе, порываясь все время к высоким почестям.

Предания утверждают, будто Фемистокл обладал исключительными природными дарованиями. Знаменитого целителя, который предлагал укрепить его память (некоторые уверяют, будто им оказался поэт Симонид) — Фемистокл осадил словами: «Ты бы лучше убрал из моей головы все то, чего я не в силах забыть!».

Фемистокл знал в лицо и помнил по именам всех афинских сограждан. Человек исключительного ума, безошибочно предвидевший дальнейшее развитие событий, он был уверен в одном: война с персидским царем только лишь начинается. Выиграть ее можно будет отнюдь не на суше, но при помощи сильного флота. Потому он всячески призывал сограждан к строительству военных судов, так называемых триер («трехрядок»). Однако намеченным планам его мешало отсутствие денежных средств.

И вот тогда в голову Фемистоклу пришла замечательная идея: доходы от известных читателю Лаврийских серебряных копей следует впредь не распылять ежегодно меж гражданами, но обращать на строительство флота. Все вновь построенные триеры выйдут против вторично явившихся персов.

Достижению задуманного мешали влиятельные афиняне, в том числе Мильтиад, герой Марафона, а также Аристид, прозванный «Справедливым», показавший себя нестигаемым воином на Марафонском поле.

²¹ Перевод с латинского А. А. Фета.

Мильтиад скончался скорей от душевных страданий, нежели от непосильного штрафа. Аристида изгнали судом остракизма²², заподозрив в намерении захватить в государстве власть. Все это развязало Фемистоклу руки, и афинский военный флот стал вполне достижимой реальностью. Привыкшие к мечу, щиту и копьё, афиняне охотно уселись за весла. Афинское государство становилось все более и более демократичным, поскольку служба на флоте сделалась доступной малоимущим людям. Младший Эсхиллов брат, Аминий, сам превратился в образцового триерарха, капитана триеры. По нынешним меркам должность вполне соответствовала командиру военного судна. Линкора, что ли.

²² Происходило всё это следующим образом: в народном собрании официально ставился вопрос, не считают ли афиняне, что кто-нибудь среди них угрожает захватом государственной власти? Имя такого человека предлагалось написать на черепке (остраконе).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.